

С. СЕДЕРГРЕН

КОНГО

лазами
худ жника



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

С. СЁДЕРГРЕН

КОНГО

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1972

SIGFRID SÖDERGRÉN
DANS MOT MÖRK BOTTEN
Stockholm, 1964

Перевод со шведского
Л. Л. ЖДАНОВА

Ответственный редактор
С. Я. КОЗЛОВ

Сёдергрэн С.

С28 Конго глазами художника. Пер. со шведск., М.,
Главная редакция восточной литературы изд-ва
«Наука», 1972.

150 с. (Путешествия по странам Востока).

Автор посетил Конго-Браззавиль, где провел свое детство. Он прошел по большим джунглям, еще не виденным европейцев. Тепло рассказывает он о своих конголезских друзьях и окружающей их природе, описывает удивительные танцы и ритуалы. Ему не хочется уезжать домой, в Швецию. И читатель тоже неохотно расстанется с яркой и человечной книгой Сёдергрена.

ЗАПАХ МАНГО

На две пачки сигарет вымениваю плоды манго. И вот у меня в руках полная корзина. Своеобразный запах... Странно знакомый, будто событие, которое случилось вчера. Или сегодня. Или только что. А я уже успел его забыть.

Кусаю желтый сочный плод, и вдруг ни с того ни с сего меня разбирает смех. Смеюсь, смеюсь, и почему-то вспоминается маленькая зеленая курточка с черными пуговицами. На пуговицах — слоны.

В Дакаре надо было выгрузить три тысячи тонн цемента, и на борт нашего судна поднялась артель чернокожих грузчиков. Стоя на корме, облокотившись на поручни, я смотрел вниз, в трюм. Рабочие сновали взад-вперед, словно перемазанные мукой мураши, мешок ложился на мешок, и мало-помалу вырастала грудa, которую грузовая стрела отрывала от палубы, относила в сторону и опускала на пристань. Через рельсы железнодорожной ветки рабочие тащили мешки в огромный пакгауз. Работа двигалась ужасно медленно, вяло. В неподвижном воздухе вспухали облака цементной пыли.

Зачем я тут торчу? От такого зрелища только в сон клопиг. Бригадир грузчиков, багровея от злости, стоит на палубе и честит лодырей. Переводит взгляд на меня и безнадежно разводит руками. Ну, что ты с ними поделаешь...

Но вот по трапу поднимается пятерка привидений. В самом деле, какие-то немыслимые фигуры: с ног до

головы в серой пыли, только глаза блестящие и черные, как антрацит. Садятся в кружок на палубе и начинают петь и хлопать в ладоши. И сразу темп работы меняется. Грузчики буквально оживают, подчиняясь ритму песни. Ноги пританцовывают, мешки теряют вес. И бригадир уже смотрит веселее. Задолго до вечера разгрузка закончена, можно идти из Дакара дальше.

Пахнет земляными орехами. Судно окружают юркие лодчонки, нагруженные всякими диковинами. За сигареты нам предлагают копья, корзины с плодами, плетки из кожи бегемота. Подходит большой плот, до краев нагруженный людьми, котелками, узлами, и на борт поднимается дополнительная команда. Сорок человек пойдут с нами на юг, будут помогать с погрузкой и разгрузкой.

На чернокожих «боях» одежда, добытая на других пароходах. Кок, который будет стряпать им в пути, вырядился в старую шинель с высоким воротом и розовые кружевные дамские панталоны. Другой щеголяет в длинной ночной рубашке. Своего старшего они величают «хедмен», это небольшого роста важный господин в черном цилиндре, его отдельно подвезли на лодке собственные гребцы. На носу лодки и поперек кормы огромными черными буквами написано: «Веруй в бога».

Вот она, природа, которая будет меня окружать. Вот он, цвет вечной зелени. Я смотрю на лесистые гребни гор за Фритауном. Вершины закрыты тяжелыми серыми тучами: дождевой сезон.

Мои ранние детские воспоминания неизменно окрашены запахами и таинственностью удивительного мира, из которого возвращались мои родители. Память об интернате для детей миссионеров наполовину стерлась, но в ней прочно живет Конго. Правда, сейчас я как-то особенно остро чувствую себя шведом, словно Швеция облекает меня с головы до ног.

«Бои» говорят на пиджине, этом куцем английском языке, в котором всего две-три сотни слов. Живые, веселые ребята, они не прочь козырнуть фразой, подслушанной в прежних плаваниях. Когда они поднимались на пароход, один из первых, сияя всем лицом, крикнул на норвежском языке: «Я загорелый парень из Ставангера!» В списке штурмана он числится под именем Джон Африка. За ним следует Джо Горе Черного Человека.

Жарко, душно, полное безветрие. Море и небо — бесконечная, сосущая, серая, мерцающая пустота. Ленивый, медлительный прибой... В каютах полным ходом работает охлаждение, воздух сырой и липкий, как в темном подвале.

Миссионерскую станцию в Браззавиле я совсем не помню. Был слишком мал. (А то, что сейчас меня окружает, тоже Африка или всего лишь застопорившая ток времени серая бесконечность?) По словам родителей, я любил лежать на полу, прижавшись щекой к доскам, так было прохладнее. Сейчас жарко, очень жарко. И я по себе чувствую, что приближается Конго. Словно возвращаюсь домой...

В Гвинейском заливе, на маленьком острове Принсипи с плантациями какао, один из «боев» упал в трузовой трюм и сломал себе хребет. Тут же, на острове, его и похоронили, и товарищи покойного пели о вечном белом сиянии. Хедмен произнес надгробное слово. После похорон гроб, взятый напрокат, возвратили владельцу. Когда гроб опрокинули над могилой, тело со стуком шлепнулось на дно ямы.

В Лобиту, в Анголе, я сошел с парохода и на несколько недель застрял у своего хорошего друга из французского консульства. До конголезского порта Пуэнт-Нуар оставались всего сутки пути на пароходе местной линии. А меня одолела хандра. Зной, палящее солнце и зной... Утром только почистишь зубы в перебивающемся росой консульском саду, как уже опять жарница начинается. Во второй половине дня дышать чуть легче, освещение становится мягче и выявляются красивые оттенки. Даже чересчур красивые, и закат, после которого сразу сгущается тьма, какой-то сладкий.

Чужой звук шаркающей поступи ночных прохожих... Они меня не замечают, хоть бы один голову повернул в мою сторону. Безучастные пальмы будто декорации на фоне неба, на ощупь жесткие и шероховатые. Африка уходит вдаль величественными складками, отгораживаясь от меня. Огромный материк, о котором писал Джозеф Конрад и который я считал своим. (Разве не было моего конголезского детства?) Баобабы, местный рынок, деревни в окрестностях города — конечно, все это интересно. Но открыта ли мне их суть? Разве справедливо,

что мое стремление понять и быть понятым встречает только презрение? И я на все стал смотреть с зевком. Проснись, тоскливое окружение, яви мне что-нибудь! Не замыкайся в себя так упорно.

Дверь в Африку мне отворили женщины. Шествие чернокожих женщин, идущих по воду.

За городом протекала река, к ней они приходили на закате. Я без особого интереса провожал их взглядом. Калebasы* и головы словно четки на фоне неба. Вверх-вниз, подчиняясь певучему ритму.

Певучий ритм! Весь пейзаж живет, женщины не идут — скользят сквозь волнистый ландшафт, тела двигаются, будто в жидком масле, ловя и сглаживая неровности тропы. Влажно поблескивая, плывут в воздухе калebasы. Женщины весело говорят друг с другом и пересмеиваются, не поворачивая головы.

И я чувствую, что наконец-то попал на суть.

Перед стройкой напротив консульства сидел на ящике человек. Придет с утра пораньше и сидит целый день. Кругом стучали, колотили, и цветы гибискуса уныло пошникали, наглотавшись пыли. Скрежетала бетономешалка, грузовики ездили взад-вперед и гудели, но ему ничто не мешало. Довольное лицо выражало блаженный покой.

Вечером, когда заканчивалась работа и шум стихал, он поднимался с места и уходил. Это повторялось изо дня в день.

ВСТРЕЧА С БОЛЬЮ

В Лобиту я заболел аппендицитом. Целую ночь, обливаясь холодным потом, корчился на кровати, будто червяк. Утром пришел врач-португалец и потискал мне указательным пальцем живот. Палец был украшен невероятно длинным ногтем, под которым скопилось не-

* К а л е б а с а — сосуд из твердой оболочки некоторых плодов, чаще всего — из тыквы; используется в Африке и кое-где в Америке (индейцами) для переноски и хранения жидкостей. — *Здесь и далее прим. ред.*

мало грязи. Судя по всему, отращивать длинный ноготь на одном пальце было у португальцев модой; я видел такой же у секретаря консульства.

Врач прописал мне пузырь со льдом на живот и шампанское внутрь, ничего, кроме шампанского. Пить чайными ложками.

— Этот приступ скоро пройдет. Но в следующий раз!... — Он устрашающе захлопнул свой черный сак-вояж.

— Но я через несколько дней уезжаю в Пуэнт-Нуар. Потом отправлюсь дальше, в глубь страны, буду писать в деревнях.

— Я бы вам не советовал это делать. Еще один приступ может оказаться роковым, если не будет врача, чтобы сделать операцию...

— Там есть знахари...

Он даже не улыбнулся.

— Кстати, будет совсем неплохо, если вы в Пуэнт-Нуаре ляжете в больницу. К тому времени воспаление спадет, легче оперировать. Я напишу вам заключение.

Он исписал целый лист бумаги с обеих сторон непонятными латинскими и португальскими словами.

— Передайте это врачу в Пуэнт-Нуаре, и все будет в порядке. Счастливо!

Через неделю я прибыл в Пуэнт-Нуар и решил сразу взять быка за рога. На шведской миссионерской станции мне рассказали, что в больницу недавно прибыл новый врач, который в свое время служил в войсках в Индокитае.

Я взял свое заключение и пошел в больницу. За письменным столом с горой бумаг сидел молодой еще француз, лет тридцати пяти, с худым, аскетическим лицом. У него был такой вид, словно ему все на свете осточертело; в корнях волос блестели капельки пота. Несмотря на ранний час, уже стояла жара. Окна были раскрыты, и пожелтевшая занавеска колыхалась в струе воздуха от огромного вентилятора под потолком.

— Бонжур, мосье доктор.

— Бонжур, мосье. Ну и пекло!

Он вытер лоб носовым платком. Я представился, объяснил, что у меня аппендицит, воспаление слепой кишки, и протянул ему заключение португальца.

— Аппендицит! Тре бьен! Очень хорошо!

Он сразу повеселел и принялся штудировать заключение. Долго стояла тишина. Кажется, почерк не очень разборчивый? Лоб врача прорезали озабоченные складки, наконец он пробормотал: «Ох уж эти португальцы!» — и отложил листок в сторону.

— Я не знаю португальского языка, но ничего, как-нибудь справимся.

Он встал и, потирая руки, с загоревшимся взором добавил:

— Приходите в четверг, в девять утра. К тому времени все подготовим для операции.

Потом мной занялась медицинская сестра, которая взяла всевозможные анализы. Больше всего ее заботило, нет ли у меня малярии.

Я вышел из больницы слегка подавленный. Очень уж явно этот врач обрадовался. Хотя вообще-то можно понять, как тоскливо в Пуэнт-Нуаре человеку, привыкшему потрошить доблестных воинов в Индокитае. Здесь все только лихорадка да глисты...

Еще держится утренняя свежесть, посаженные в ряд миндальные деревья роют на землю капли росы. Щебечут птицы, я чувствую себя здоровым, как никогда, и мне вовсе не хочется в больницу. Меня встречает жизнерадостная медицинская сестра в белом.

— Раздевайтесь и наденьте вот это.

Она вручает мне белый махровый халат и шлепанцы. Как-то все это нереально. Я смотрю на свой живот. Он пока цел, и у меня ничего не болит. Может быть, операция не нужна?

Мне предлагают пройти в операционную. Она находится в дальнем конце корпуса для местных жителей, длинного барака с маленькими окошками, который, по сути дела, состоит из одной общей палаты, где пациенты лежат рядами на полу. Вхожу в барак, и дверь, захлопнувшись за мной, отсекает слепящий солнечный свет. В нос ударяет запах эфира и медикаментов. Смутно различаю на полу фигуры больных. Стоны, охи, невообразимая теснота. Каждого больного окружает многочисленная родня, и я шагаю очень осторожно, чтобы не наступить на кого-нибудь.

В операционном зале меня встречают четыре черно-

кожих санитаров. Мне уже тошно, и я, как могу, бодрюсь.

— Бонжур, господа! Отличная погода сегодня. Неужели нужно четыре человека, чтобы справиться со мной?

Хоть бы намек на улыбку. Суровые, неправдоподобно черные в своих белых халатах и шапочках, они велят мне раздеться и указывают на стоящий посреди комнаты операционный стол. Черный стол производит страшно холодное и бездушное впечатление.

Стою нагишом и чувствую себя, как никогда, беспомощным и обреченным. Мне показывают жестом, чтобы я ложился. Хотя бы сказали что-нибудь — не мне, так друг другу. Нет, ни звука, передвигаются по комнате, точно роботы. Черная клеенка на столе холодит спину. Мне привязывают руки и ноги, и я лежу, как в тисках. Отворяется дверь, входит врач. Он весело насвистывает и словно приносит с собой луч света. Подходит к умывальнику, споласкивает руки, потом ощупывает мой живот.

— Ишь, сколько жиру нарастил! — Он смеется.

Входит еще один человек, это операционная сестра. Она европейка, и к тому же красивая. Я чувствую себя страшно недовко. Хоть бы усыпили поскорее!

Но приготовления далеко не закончены. К изголовью подтаскивают большой баллон с газом. На моем левом бедре укрепляют ленту с каким-то прибором. Долго возятся с чем-то вне поля моего зрения. Санитары заняли места, два с одной стороны, два с другой. Смотрю на бесстрастные лица, будто вырезанные из черного дерева.

Мне кладут что-то на лицо. Это эфирная маска. Она ложится косо и защемляет мне нос так, что я не могу вдохнуть ни воздух, ни эфирные пары. Вот будет тупо, если я задохнусь раньше, чем меня усыпят! Дергаю головой, маска отлетает в сторону, сестра сердито кричит.

Маска снова ложится мне на лицо, теперь правильно.

Вдох — и я поперхнулся чистым эфиром. Вдруг вижу совсем рядом желтые языки пламени, вырывающиеся из двойного патрубка. Слышу крик доктора, один из санитаров срывается с места. Да, огонь и эфир — опасное соседство.

Круг мыслей стремительно сужается, думаю только о живописи. Все вдруг становится на диво просто. В самом деле, почему не писать вот так? Ну, конечно! Под

конец остается лишь уходящая в черное пространство красная нить.

Быстрее... быстрее... быстрее... А затем все пропадает.

Меня рвет. Голова раскалывается, в животе сильные боли. Только успеваю перевести дух, как снова приступ рвоты, меня выворачивает наизнанку. Пытаюсь сдержаться, глотать — какое там. Рвота не прекращается. Сдохну, честное слово, сдохну.

Я судорожно держу чью-то руку. Рука черная. Черпокожая санитарка — единственная нить, связывающая меня с жизнью. Цепляюсь за нее, что есть силы. Ужасно жаль самого себя.

Постепенно приступы рвоты становятся реже, и я обливаюсь холодным потом от усилий сдержаться. Меня мучает нестерпимая жажда. Вижу каскады, водопады ледяной, с зеленоватыми бликами воды. К моим губам подносят ватку, намоченную вином. Мгновенно всасываю все.

Узнаю, что я пролежал без памяти шесть часов. Немало, если учесть, что вся операция заняла двадцать минут.

Появляется доктор. Делает ложный выпад правой, метя мне в живот. У меня сердце обрывается, я весь становлюсь ватным от страха. Этакая милая армейская шуточка...

Первые три дня будто странствие в пустыне. Мне не дают пить. И почему-то возятся с левым бедром не меньше, чем с раной на животе.

— В чем дело, разве там тоже операцию сделали? — спрашиваю я врача.

— Нет, это сверх программы. Прибор барахлил, и случился ожог. Бесплатное приложение.

Обе раны одинаково скверно заживали. Может быть, потому, что я очень сильно потел.

Каждое утро в палате делали уборку. Шлепая босыми ногами, появлялся вечно печальный уборщик с длинной метлой. Поначалу, когда я был скорее мертвый, чем живой, он заметал мусор под кровать. Когда же я снова оказался в состоянии есть и пить, он стал осторожнее, выносил мусор на веранду, дверь на которую всегда была открыта, и высыпал его через балюстраду.

В обязанности уборщика входило также вытряхивать одеяло. А так как он тряс его прямо над кроватью, мне приходилось крепко зажмуриваться.

Уроженец безбрежных лесов у границы Габона, он одиннадцатый год работал в больнице, но продолжал тосковать по дому.

— Никак не могу заработать на проезд. У меня двенадцать родичей, сами не работают, а кормить их надо.

Я пролежал в больнице десять дней. Потом врачу надоело со мной возиться.

— Не будем мы ждать, пока ваши раны заживут. Я дам вам сульфопрепарат и дезинфицирующее средство, будете сами их обрабатывать. У вас есть деньги?

— Нет. А что?

— Нет, я так. Будь у вас деньги, операция стоила бы вам пятьдесят тысяч франков.

— Но я думал уладить...

— Не нужно, — перебил он меня. — Я сам когда-то собирался стать художником. Может быть, у вас найдется лишняя картина, когда вернетесь?

Мне выдали полную картонку бинтов, компрессов, порошков и мазей. Я уложил их в железный чемодан вместе с одеждой и красками, купил подержанный автомобиль и поехал в Долизи, где застрял на две недели.

Раны меня изводили. Казалось, они никогда не заживут. Я тщательно обрабатывал их утром и вечером, но они не собирались затягиваться. Ходить было очень трудно. Я почти непрерывно потел, и никакая марля не могла предохранить раны от пота. Они чесались, они горели. Настроение было соответствующее. Я стал злым и раздражительным.

ТЕМНАЯ КОЖА В ДОЛИЗИ

Город Долизи лежит на равнине среди отрогов Хрустальных гор. Закрытый от освежающих ветров, он задыхается от белого зноя. Поэтому многие выстроили себе дома на склонах гор, где не так душно.

Шведская миссионерская станция тоже расположена

высоко, здесь открывается великолепный вид на зеленые вершины массива. Они образуют как бы задник из бледно-зеленых куртин, на фоне которого разбросаны синие купола лесистых холмов. Горы и дождевые тучи согласованно рисуют могучие плавающие дуги.

Дслизи — важный узел на железной дороге Пуэнт-Нуар — Браззавиль и в сети автодорог, уходящих в глубь страны.

Белые, работающие в глухих уголках саванны, приезжают сюда за продуктами и иным товаром, посмотреть кино. По большим праздникам, скажем 14 июля, город наводняет армия геологов, геодезистов, таксаторов, отель «Терминаль» набит битком, и несколько дней царит истинно клондайкская атмосфера.

Магазины, административные здания, аптека и больница укрылись в густой тени под огромными, старыми манговыми деревьями. Дома запущены, штукатурка осыпается. Идешь по растрескавшемуся асфальту, под ногами шуршат сухие листья. Забитые псы боязливо обнюхивают мусорные контейнеры с гнилыми плодами манго и тучами блестящих навозных мух.

В португальском универмаге остро пахнет сушеной рыбой и мокрыми мешками с солью. Под потолком висят набивные ткани с потрясающими узорами: портреты президента Юлу Фюльбера * и генерала де Голля, лозунг «Да здравствует независимость» огромными буквами, карта республики, пальмы, птицы.

Входит мамаша, неся на спине спящего младенца. Останавливается у полки, перебирает пестрые шали. Малыш сонит мокрым носом, рот приоткрыт, на щеках полоски от высохших слез. За прилавком стоят аккуратные маленькне португальцы с масляной улыбкой, приглаженными волосами и чернущими усами. И бледные португалки в ореоле роскошных черных волос. Большие

* Юлу Фюльбер — аббат, в прошлом политический деятель Республики Конго (Браззавиль). Был лидером основанной им же партии Демократический Союз защиты африканских интересов. Возглавлял правительство и был президентом «автономной» Республики Конго — члена Французского Сообщества, а затем и независимой Республики Конго. Ставленник колонизаторов, тесно связанный с иностранным капиталом, Ф. Юлу проводил откровенно неоколониалистскую политику. В августе 1963 г. режим Юлу был ликвидирован в результате революционного переворота.

Мечтательные глаза, белые прозрачные блузки, ноги с расширенными сосудами и красным маникюром на пальцах, вокруг которых снуют по опилкам тараканы. Полки ломаются от ярких банок и бутылок: сухое молоко, чернила, мармелад, конфеты, сардины, вино, томатный соус.

У входа в универмаг сидят портные и сапожник. Мерно стрекочут швейные машины. Когда-то шведская фирма «Хюскварна» поставляла швейные машины в Конго. Они быстро завоевали добрую славу. И слово «хюскварна», сильно искаженное местным произношением, стало синонимом всего добротного и красивого. О симпатичной девушке можно услышать, что она «очень хюскварна».

Подползает калека, просит милостыню. У него привязаны дощечки ниже колен, распухшие ступни неестественно вывернуты. Он молчит, только протягивает руку и смотрит на вас.

Хозяин мясной лавки — толстый цветущий француз. Между туго затянутыми ремешками сандалий вздулась жирная кожа с большими порами. Розовые руки небрежно бросают на прилавок сочные куски мяса, звучит рокочущий смех. На полу стоят ящики с европейским картофелем, лежат яблоки и помидоры из Южной Африки.

Утром, пока еще прохладно и блестит роса, спешат в обход по лавкам гибкие француженки на высоких каблуках, с продуктовыми сетками и сумочками. Совершает утренние покупки и добродушный француз в темных очках, охраняющих его инкогнито. Толстый живот перехвачен ремнем, на сорочке под мышками уже темные пятна пота. Громыхая, проносятся серые ржавые джипы с буксирным крюком позади, колени водителей торчат выше баранки.

За прилавком гастронома стоят миловидные и надменные чернокожие девушки. Стоят, очевидно, больше для украшения, с величайшей неохотой отвлекаясь на скучную коммерцию. В аптеке, окруженные запахом мыла и одеколона, трудятся усердные португальцы в белых халатах. Среди косметики и лекарств — выставка скульптур: рассчитанные на туристов, небрежно вырезанные из черного дерева и слоновой кости натуралистические фигуры. На стенах висит реклама порошков от головной боли. «Против мигрени — аспро! Принимайте аспро!»

Поток покупателей не иссякает. Преобладают черно-



Деревня кажется безлюдной, но это одна видимость. Местные жители заблаговременно извещены о появлении чужеземца, и за ним следит много любопытных глаз.

кожные женщины. Шуршат подметки, длинные подола метут пол, болтается головка спящего ребенка...

Вокзал — каменное здание с ярко-зеленой штукатуркой. В ближайшее время поездов не ожидается, поэтому вход и прочие черные провалы зияют пустотой. Перед вокзалом — площадь и сквер, лабиринт зеленых насаждений, через площадь — почтамт. Длинные ряды абонементных ящичков с маленькими висячими замками.

Притормаживают машины. Рука извлекает ключ из кармана, ноги бегут к ящичку, потом медленно идут обратно к машине, глаза скользят по строчкам, пальцы ощупью отыскивают ручку дверцы...

За стойкой сидит замкнутый, весьма самоуверенный и поразительно черный в своей белоснежной рубашке служащий, непревзойденный мастер штемпелевать пись-

ма. Слабый утренний ветерок покачивает два бледно-розовых гибискуса.

Вдруг возникает она.

Черная с фиолетово-коричневым отливом атласная кожа обернута в бледно-зеленый льдистый шелк. Шея — точеная колонна. Маленькая голова, круглые щеки, небольшой острый подбородок, полные губы, подкрашенные темно-синей помадой. Задорный носик, большие черные глаза. Желтый платок парусом, с тугим узлом впереди перехватывает бархатисто-черную копну блестящих курчавых волос.

Лицо ходячего штемпеля миглом оживает.

— Что вам угодно, мадам? — спрашивает он по-французски.

Она отвечает:

— Помогите мне составить телеграмму моему мужу. Он работает в Камеруне и хочет, чтобы я немедленно возвратилась к нему.

В один прекрасный день во дворе миссионерской станции появился тощий юнец с кудрявой каштановой бородкой и исполинским рюкзаком. Он был одет в выгоревший туристский костюм защитного цвета. Куцые шорты делали его бедра непомерно длинными. Худые ноги заканчивались громадными башмаками, они ступали очень целеустремленно, крошили хрустящий гравий и явно были господствующей чертой в облике молодого странника. Гость, немецкий студент, сообщил, что добирается пешком и на попутных машинах из Гамбурга в Южную Африку к дядюшке.

Сидя в открытом кузове грузовика, между бензиновыми бочками и сушеной рыбой, он подцепил дизентерию. Это произошло на последнем этапе, по пути из Габона в Долизи. Его рассказ о дорожных приключениях то и дело прерывался визитами в туалет.

Ночью через Долизи должен был пройти браззавильский поезд. Немец решил воспользоваться им и не дожидаться попутных машин. Мы тотчас отправились на станцию покупать билет.

После яркого белого света на площади мрак у билетного окошка как-то озадачивал. Но постепенно я различил железную решетку, а в сумраке за решеткой —

кассира: озабоченное худое лицо, почти закрытое непомерно большой форменной фуражкой.

— Вам только туда или обратно, мосье?

Не успел я ответить, как у окошка невеста откуда возник чернокожий франт и на полочку лет блестящий черный портфель с ремешками и пряжками.

— Ради бога простите, можно мне взять билет раньше вас? Я ужасно спешу.

— Гм, пожалуйста, берите.

Голос из фуражки:

— Первый класс, мосье?

— Конечно. Только скорее, скорее!

И исчез. Всего лишь несколько секунд длилось это видение: тщательно отутюженный серый костюм, темные очки и портфель.

Впрочем, немец тоже получил билет. Билет третьего класса, в товарный вагон.

Мы явились на вокзал поздно вечером, но задолго до прибытия поезда. На стоянке перед зданием выстроился длинный ряд грузовиков, такси и джипов. Крыша вокзала переходила в широкий навес над перроном.

Здесь уже несколько часов ожидала тьма народу — отъезжающие с родней, друзья отъезжающих и просто любопытные. Все скамейки заняты, всюду сидели, лежали, стояли люди. Их окружали горы багажа: сушеная рыба, калебасы с пальмовым вином, свернутые циновки, корзины с маниоком, живые куры в клетках из пальмовых прутьев.

Во всех концах перрона звучат голоса, смех, здесь идет жаркий спор, там кто-то кого-то хлестко пушит. Даже на местном базаре не бывает такого накала и оживления, как на вокзале перед приходом поезда. Нервы натянуты, смех становится истеричным, споры легко переходят в яростную перебранку.

Под единственным на весь перрон фонарем — желтый круг с черными тенями и освещенные фигуры в красном и темно-коричневом. Блестящие рельсы теряются во тьме. Чем ближе долгожданная минута, тем лихорадочнее суется. Люди бегают взад-вперед, перекладывают узлы, переставляют багаж с места на место, возбужденно переговариваются, поворачиваясь то влево, то вправо. Заботливая мамаша обнажает грудь и дает младенцу пососать на дорогу.

Неожиданно объявляют, что поезд опаздывает. Опоздание исчисляется часами. И сразу наступает тишина, все скисает. Лишь из комнаты дежурного по станции доносятся звуки, там рьяно крутят вечно бездействующий телефон.

Мало-помалу ожидающие успокаиваются, кто садится на свое место, кто ложится, кто продолжает стоять. Разговор возобновляется, правда уже не так громко. Постепенно люди смолкают. Некоторые принимаются есть свой машиок.

У одной из колонн сидит на полу тучная женщина. Ее голова склонилась на грудь, она бормочет во сне. Одна рука опирается на большой узел, и предплечье сплющилось, словно шелковистая кожа наполнена тестом. Часть имущества спрятана под накидкой и торчит бугром на уровне могучих грудей.

Старик, уединившийся в пустыне молчания, сидит на самом краю скамьи. Голова торчит из воротника широкой истрепанной шинели, задумчивый взгляд обращен внутрь.

Рядом спит на спине юноша, ноги согнуты в коленях, голова упала набок, рот полуоткрыт. Он занимает сразу два места и громко храпит. Лежит, словно душа его куда-то далеко отлетела; коротенькие шорты грязно-желтого цвета нещадно смяты. Эти двое как бы обособились от всего окружающего.

Люди дремлют, спят, сопят, храпят, наконец через два часа выходит дежурный по станции в надетой кое-как поверх штанов рубашке и объявляет, что поезд сейчас прибудет. Перрон становится похож на потревоженный муравейник, все вскакивают и начинают лихорадочно суетиться.

Пронзительный гудок, потом стук и скрежет, глаза слепит прожектор, и появляется состав со светящимися рядами окон. Он подкатывает к перрону и останавливается, громко лязгая буферами.

Сонно мигающие пассажиры ошеломлены грохотом: двери распахиваются, в окна и двери летят узлы и корзины, все одновременно протискиваются в вагоны, спеша захватить место. Немец — рюкзак на коленях — зажат между двумя дородными африканками. И я машу на прощание не столько ему, сколько рюкзаку.

Как он выйдет из положения со своим поносом?

В лунные ночи я часто совершал долгие прогулки на равнине и в кварталах «черной» части города. Воздух вибрировал от барабанной дробы. В тусклом свете смутно, зато тем внушительнее проступали деревья, кусты, дома, разные предметы: бархатные тени и то сливающиеся, то опять расходящиеся неясные силуэты. У меня не было чувства, что я иду. Ноги двигались машинально, я как будто плыл через теплый мрак. В «белой» части города — полное безлюдье. Только собака лает привычно и однотонно, и лай ее звучит, как нескончаемое причитание...

Темень такая, что ничего не различить, но все равно я остро воспринимаю незримую массу манговых деревьев. Риск наступить на какую-нибудь змею заставляет меня быть настороже и трезво мыслить.

У переезда, сгорбившись, сидел около прогоревшего костра дежурный. Тихо тлели головешки. На земле, закутанный в одеяло, лежал второй. Они негромко переговаривались. На равнине — строй деревьев, словно могучие окаменевшие привидения. Неизменные манго. Белесая лунная дорожка пропадала в непроницаемом мраке «черных» кварталов.

Крыши лачуг, открытые дворики, пятна лунного света. Молчаливые люди вокруг костра, лишь иногда кто-нибудь обронит слово-другое. Встали, потягиваются, зевают. Один за другим уходят в дом. Собаки спят на золе, поближе к углям. Скулят во сне. Кто-то проходит мимо, но я не вижу его (или ее), вижу только рваный полет светлячков. Иду по дороге, обсаженной эвкалиптами, мимо безмолвных домов, безжизненных домов. Что-то холодное и влажное касается моей ноги. Вздрагиваю... Фу ты, это всего-навсего бродячий пес вздумал меня обнюхать.

У входа в лавку сидит старик торговец в светлом кафтани. Через открытую дверь видны бутылки и рулоны материи на полках, желтое сияние свечей и трепещущие тени. За прилавком, положив голову на руки, спит девушка. Улицу пересекают темные силуэты, у одного в руке качается керосиновый фонарь. Длинный подол туго облегает ноги, кожа отливает красным.

Базарную площадь окружают бары. Несколько динамиков горланят одновременно, будто распахнутые настежь звуковые шлюзы. Португальские фадос, ча-ча-ча,

песни на лингала — помеси французского с конголезскими диалектами*. Пустующие ночью рыночные прилавки и ящики сдвинуты в кучи. Кругом порхают девушки в коротких юбочках.

— Бон нюи, мосье. Прогуляемся?

В усталой профессиональной улыбке проститутки нет ни горечи, ни презрения. Наверно, она содержит большую семью в какой-нибудь далекой деревушке. Через год-два отправится домой со своими сбережениями и выгодно выйдет замуж.

Из выхода на танцевальную площадку, забор которой облеплен любопытными, льется поток зеленого света. На столах лужицы пива, кто-то с лязгом тащит железный стул по цементному полу. Крышей служит небо, луна будто белый плафон. Танцующие пары с бесстрастными лицами лениво волочат ноги на европейский лад. Напудренные щеки девушки словно пятна муки на черной коже, на губах синяя помада. Она тонет в объятиях своего партнера, сутулого дылды с замутненными вином глазами; на нем желтые брюки и матерчатые башмаки на резине. Звучат саксофоны и гитары. Черные лица музыкантов под широкими полями сомбреро суровы и непроницаемы.

По мере того как я углубляюсь в «черные» кварталы, музыка баров затихает, словно вывели громкость, и когда меня вдруг обступает ритм плясовых барабанов батеке**, мне кажется, что я слышал его все время, что он был только заглушен, а теперь вырвался на простор. Барабанная дробь звучит в одно и то же время пылко и глухо, сдержанно и лихо. Властная и уверенная, она подчиняет себе свет и тени. Танцующих словно трясут на сите. Батеке танцуют в лунной ночи...

В новогоднюю ночь в спальне царила несносная жара. Я оделся и вышел. В небе висел круглый шар луны. Желто-серый двор расплывался по краям, слабый ночной

* Автор ошибается. Лингала — язык народа бангала, проживающего в обеих Республиках Конго; относится к языковой семье банту.

** Батеке, а также упоминаемые далее в книге бакуту, бабембе, бабвенде — бантуязычные народности и племена, живущие в бассейне среднего и нижнего течения р. Конго.

ветерок шелестел блестящими листьями масличных пальм. Воздух был насыщен модными мелодиями из баров, как будто лунный свет обладал особыми звукопроводящими свойствами.

Я сел в машину и скатился вниз, в долину. Белой размытой лентой тянулась дорога, звенели цикады, в слоновой траве мелькали светящиеся кошачьи глаза. На равнине, среди моря лунного света, черным лаком отливали дождевые лужи. Уже показались первые дома, когда машина вдруг вильнула в глубокую колею и завязла.

Деревушка начиналась метрах в двухстах, мрачно-замкнутая, недобрая в тусклом, холодном свете. Сероватые домики под черными манговыми деревьями извергали в ночь дикий шум: разгоряченные голоса, крики, смех. Ракетой взмыло к небу пронзительное соло на трубе, в кабаре нажала на голосовые связки певичка, и через все пробилась вездесущая яростная дробь барабанов, живущих своей собственной жизнью.

Окруженная редкими бледными звездами, в зените, будто паук в центре своей паутины, притаилась луна. Я не мог бросить машину на произвол судьбы. Отыскал домкрат, подвернул штанины и превратился из пассивного созерцателя в деятельного участника ночного спектакля. Под звуки плясовых барабанов, вдыхая напоенный страстью воздух, я после долгих трудов сумел приподнять передние колеса. Подложил короткие доски, которые взял на строительных лесах поблизости, и попробовал дать задний ход. Но теперь уже задние колеса зарылись в грязь, и машина не сдвинулась ни на шаг.

В одну секунду ночь стала враждебной силой, шум из деревенских кабаре наседавал на меня, мешая работать, звон цикад пилой терзал мои нервы. Был только один способ защититься от этой атаки звуков — заглушить их. И я начал считать вслух повороты домкрата. Крутить и считать, крутить и считать, крутить и считать... Самовлюбленное сияние луны было как презрительный вызов; она безучастно взирала на мои жалкие потуги и выставляла их на всеобщее обозрение. Сто тридцать оборотов в одну сторону, сто тридцать оборотов в другую, снова и снова. Несколько раз мне удавалось подвинуть машину на несколько сантиметров. Но в конце концов она легла на землю, как до смерти усталый пес, отказываясь встать. Колеса вращались в воздухе.

От mosкитов, неслышных и незримых, чесались ноги, руки, шея, уши, лоб. В тяжелых от глины ботинках я шлепал по грязному месиву, словно водолаз.

Среди мерцающего белесого мира, будто работающая в барабанном ритме динамо-машина, — черная, от всего отгородившаяся, буйная, неукротимая деревня. И серая фигура человека, который крутит и считает, крутит и считает в бессильной ярости.

Ночь истекала, силы иссякали. Луна зашла. Пришлось сдаться и шагать пешком домой. Уже светало, когда я повалился на свою постель. А плясовые барабаны продолжали рокотать все так же неистово.

КРАСНЫЙ ПРОТОК В ЗЕЛЕНОМ ОКЕАНЕ

Концентрированная атмосфера Долизи отдавала безумием — может быть, потому, что ритм жизни коренного населения не укладывается в рамки западной цивилизации.

Я хотел пожить в краю, где меньше всего сказывалось влияние белых, узнать жизнь деревни и ее людей. И выбрал отправной точкой Занагу, в трехстах километрах к северу от Долизи. Там есть префектура и шведская миссионерская станция, а кругом простираются нетронутые леса. В этой области живут бакуту и батеке, есть немного пигмеев бабонго*.

Прежде чем выезжать, я изрядно помучился с машиной. У нее выявились некоторые весьма своеобразные черточки. Передние дверцы распахивались от малейшего толчка, и за ними приходилось тщательно присматривать. Кузов гнулся, как плетеное кресло, крылья держались на честном слове. Зато машина красиво блестела на солнце свежим лаком, рессоры пружинили так, что дух захватывало, и, приняв кое-какие профилактические меры, можно было отправляться в путь.

Я стартовал рано утром с запасом бутербродов, кото-

* Б а б о н г о — одна из групп пигмеев бабинга, обитающих в западной части Экваториальной Африки; говорит на языках окружающих народов банту.

рыми меня снабдили заботливые миссионеры; рессоры кряхтели под грузом чемоданов и бензиновых канистр. Быстро кончились окаймляющие долины прохладные рощицы с журчанием ручьями, и дальше пошел однообразный волнистый ландшафт, бесконечная саванна с жесткой слоеной травой. Латеритная* дорога то и дело меняла окраску. Белая, золотистая охра, английская красная. Местами в черной золе от степного пожара зеленела свежая трава, а дорога струилась, как жидкий краплак. Деревушки были убогие, уныло припудренные серой дорожной пылью. Посадки скудные: реденькие бананы, одиночные кусты гибискуса.

Было уже довольно жарко, когда я подъехал к реке Ниари. Широкая, блестящая, она текла медленно, словно разморенная зноем. У паромной пристани несколько женщин купались и стирали свои юбки. Внезапное появление моей машины вызвало испуганные вопли; с громким всплеском скрылись под водой чьи-то широкие ягодицы. Фыркая и смеясь, женщины поспешно кутались в свою одежду.

Было очень душно, полное безветрие. В хилой лачуге с зияющим отверстием входа продавались предметы первой необходимости для проезжающих: сигареты, пиво, мыло. Полчища мух роились вокруг лежащих на прилавке рыбин с длинными усами. Владелец этого магазина похрапывал на песке, в тени от козырька крыши. Завернувшись в мокрую хлопчатобумажную ткань, женщины вышли на берег, на зависть свежие и прохладные. В курчавых волосах поблескивали капельки воды.

Паром — три железных понтона с настилом — приближался к нашему берегу. Два троса крепили его к блоку, который катился по натянутому над рекой третьему, намного более толстому. Меняя длину первых двух тросов, можно поворачивать паром так, что течение заставляет его идти либо в одну, либо в другую сторону.

Три члена команды стояли, как три изваяния, пока паром не заскреб по дну. Тогда начались хитрые маневры, чтобы правильно развернуть его. Наконец я въехал на раскаленную железную палубу.

* Латерит (от лат. later — кирпич) — плотная глинистая или каменистая горная порода различных оттенков красного цвета; встречается обычно в тропических странах, где издавна используется населением в качестве строительного материала.

Пока паром пересекал реку, все стояли без дела. Между понтонами булькала желтая пена, над водой металась стрекоза.

А когда мы подошли к другому берегу, я увидел, что железные сходни лежат слишком круто, машина непременно зацепится.

— Капитан, это не годится! — обратился я к человеку в фуражке.

Он развел руками — жест, предоставляющий все на волю господу богу, судьбы или случая.

— Ничего не поделаешь, мосье!

Тем не менее сто колониальных франков повлияли на его жесты и на судьбу. Будто извлеченные волшебством из его широкой фуражки, откуда-то появились и доски, и колоды, чтобы подмостить машину.

За переправой дорогу покрывал толстый слой мельчайшей пыли. Сквозь все щели в машину врывались облачка красной пудры. В носу щипало, как при начинающемся насморке. Я без конца чихал и обливался слезами.

Так продолжалось не один десяток километров. А потом я попал в сине-зеленую прохладную тишину леса и проехал через первые деревни бакуту. Под соборными сводами исполинского бамбука царили сумерки, и колеса буксовали в скользкой плесени. В чаще масличных пальм утопали церковь и дома шведской миссионерской станции Индо. Дальше мне встретилась деревушка бабонго — среди густого девственного леса простенькие шалаши из листьев, и ни одной живой души.

Деревья с воздушными корнями стояли будто чудовищные белые пауки, дорога была как проток, петляющий среди зеленых берегов из миллиарда листьев. Крутой подъем вел на гору Ндуму мимо расчисток для кофейных деревьев и майяки. Машина нерешительно ползла вверх на первой скорости. Дыша холодом, проплывали дождевые облака. Заложило уши, тянуло зевать. В зеленые теснины ярко-синими ядрами падали зимородки.

Все чаще попадались деревни бакуту и батекке попеременно. Клочок утрамбованной ногами бурой земли, жилье из того же материала. У самого радиатора взлетали, кудахтая, куры; козы мчались суматошным галопом и ныряли в первый попавшийся просвет на опушке.

Людей с дороги точно ветром сдувает. Издали примечают машину и прячутся у обочины. Потом появляются в зеркальце и стоят как ни в чем не бывало. В двух-трех деревнях покрупнее цветут гибискус и бугенвиллея. В сумерках впереди возникает белая церквушка, просторная зеленая поляна, красный кирпичный дом под железом. Это и есть шведская миссионерская станция.

ЧЕЛОВЕК НА ОБОЧИНЕ

Запага лежала рядом с проселочной дорогой, утопленная в ворсистый лесной ковер. Но почам неведомо откуда доносилась дробь плясовых барабанов.

Мои попытки наладить контакт с местными жителями почти ничего не давали, в деревнях, особенно у бакуту, меня встречали без восторга. Когда в тридцатых годах здесь развернулась деятельность миссионеров, католики обрабатывали бакуту, протестанты — батеке. И почему-то у бакуту сложилось убеждение, что протестанты — сатанинское отродье. У многих из них протестантская миссия вызывала такой страх, что они обходили ее за версту, продираясь сквозь заросли.

На меня в деревнях смотрели неприязненно, далеко разносился шепот: «Белый идет! Белый идет!» Нелегко это было — идешь, как сквозь строй. Никогда прежде мне не приходилось так задумываться над цветом своей шкуры.

По утрам погода была сырая, стылая, хмурая и бесцветная. Угнетенные влажной мглой, деревни замыкались в себе, царила нелюдимая тишина. Но вот сквозь туман пробивается солнце, и наступает жара. Небо становится белым. Лишь когда солнце склоняется к горизонту, как-то вдруг, исподволь проявляется цветовая гамма. Яркая охра земли и прокаленных солнцем глинобитных домов, неправдоподобно синее небо, буйно зеленое море лесов. Чем ниже солнце, тем сочнее краски, цвет достигает кульминации и тонет в скоротечных сумерках и черной ночи.

Иногда меня спрашивали, кто я, буду ли проводить богослужение в деревне. Как, разве я не протестантский пастор? Ведь я живу на миссионерской станции.

Но постепенно на меня перестали обращать внима-

ние. Кроме цвета кожи, я ничем не мог их удивить, а он, слава богу, не становился блее. Конечно, трехнедельная щетина на лице могла навести на мысль о сатане, но зачатком бороды я, несомненно, напоминал также католических патеров в префектуре.

Про этот край можно сказать, что ему присущ некий властный общий знаменатель, в нем привлекает какая-то неукротимая, неистовая сила. Я угадывал ее в деревьях, в солнце, в движениях конголезцев, в ночном мраке. Но что им до меня и зачем я, собственно, здесь? Отчужденность местных жителей обескураживала меня. Без контакта с людьми я могу тут век ходить, будто слепая курица.

И вот я однажды попал в Ингумину, большую деревню бакуту. Тотчас машину облепили любопытные ребятишки. Я вылез и медленно пошел по деревенской улице, бросая налево и направо «мботе» («здравствуйте») и «са ва?» («как дела?»). Мужчины сидели перед своими хижинами и испытующе глядели на меня. Женщины мне не попадались, они работали в поле.

Как обычно, я чувствовал себя предметом всеобщего обозрения, смешным и к тому же безобразно толстым. Я втянул живот и заставлял себя равнодушно зевать, словно прогулка по этой деревне была для меня самым обыденным делом на свете.

У обочины очень спокойно и очень праздно стоял человек. Он был небольшого роста, а странно кривые ноги делали его еще короче. Они у него были изогнуты так, словно их вывернули икрами вперед. Над животом занавеской свисала щегольская рубаша в зеленую клетку — дар миссионеров, пошитый, быть может, какой-нибудь шведской домашней хозяйкой.

Я спросил его, не хочет ли он прокатиться.

— Да-да, мосье!

Местные жители обожают кататься на машине.

Он сносно изъяснялся по-французски. Надо сказать, что мне мешало незнание местного языка, во всяком случае первое время, пока я не освоился и не понял, что можно и так обойтись.

Его звали Нзиколи Илер. Здесь многие прибавляют французское имя к своему конголезскому. Например, Нтонделе Виктуар называли так, потому что она была долгожданным ребенком («нтонделе» означает «спаси-

бо»). В ту минуту, когда она появилась на свет, через деревню проезжала машина и водителя спросили, который час. «Три часа!» — крикнул он в ответ. И нарекли девочку Нтонделе Виктуар Тричаса. Я познакомился с мужчиной, которого звали Букатер Филипп Девятьдней-безеды. Последнее имя напоминало о том, как однажды в деревне был голод и люди девять дней ничего не ели.

Нзиколи было, наверно, лет пятьдесят. Вообще я затруднялся определять возраст местных жителей. Да они и сами, как правило, не знали, сколько им лет. Лишь немногие приблизительно исчисляли свой возраст, основываясь на том или ином событии. Так, один старый вождь, он же жрец, рассказал мне, что маленьким мальчиком слышал о белом человеке, который проходил с множеством носильщиков через район Индо. Судя по тому, что вождь был очень дряхлый, речь явно шла о прошлом веке. Но тогда, а точнее в 1878 году, в этих краях побывал только один белый путешественник — основатель Браззавиля граф Пьер Поль Франсуа Камиль Саворньян де Бразза. И выходило, что вождю около девяноста лет.

Сам Нзиколи уверял, что ему восемьдесят лет. Проверить нельзя, так чего скупиться! Может быть, он преувеличивал свой возраст, исходя из правила: чем старше, тем мудрее.

Кормился Нзиколи торговлей, торговал по деревням. Распродает одну партию товаров — отправляется с почтовой машиной в Долизи за новой.

Я повез Нзиколи в деревню, где находилась его лавка. С полей возвращались женщины, сгибаясь под тяжестью корзин с бананами, арахисом и маниоком. Заплечная корзина висит на ремне, надетом на голову.

Нзиколи перечислял деревни на нашем пути: Ута, Киминзуала, Ундама, Омпо, Лекеле... Вдруг прямо перед машиной на дорогу выскочил зверь. Тормозить было поздно, и зверь ударился о шасси. Я остановил машину. Нзиколи выскочил, поднял с земли сук и подбежал к животному, которое корчилось на дороге. В каком-то остервенении, будто демон или первобытный человек, он принялся колотить зверя и не успокоился, пока не добил его.



Нзиколи гордо, хотя и с опаской, позирует на шатком подвесном мосту

Это был нзоббо — хищник размером с лису, только ноги короче да шерсть жесткая и почти черная. Нзоббо — великий охотник до кур, за что его ненавидит местное население. Нзиколи поднял добычу за хвост и швырнул на заднее сиденье. Из морды зверя обильно текла кровь. Я сокрушался, что не успел затормозить и спасти животное, но Нзиколи меня не понимал.

— У него отличное мясо!

Уже смеркалось, когда мы добрались до деревни Нзиколи. Его лавка помещалась в крохотной хижине. Нзиколи зажег и поставил на стол керосиновую лампу. Я разглядел на полке товар: ткани, спички, голубые пач-

ки сигарет, флакончики с духами, серьги. Тут стояли и стеклянные баночки с красной мазью. Я спросил, что это такое.

— А, это для женщин, крем от загара, они его очень любят.

— Но вы ведь привычны к солнцу. Зачем вам мазь от загара?

— Да они не от солнца защищаются,— объяснил Нзиколи. — Мажутся потому, что хорошо пахнет.

В самом деле, мазь пахла очень приятно. Я сел на ящик, заменявший стул. Нзиколи достал две стопки и налил пальмового вина из калемасы. Оба мы не ахти как говорили по-французски, наш словарный запас был скуден. Тем не менее я без труда понимал Нзиколи. Просто удивительно, как он умел жестами и мимикой воспроизвести образ, передать эпизод. Обладая подвижным лицом и сам чрезвычайно подвижный, он вполне мог объяснить, даже когда не хватало слов.

Нзиколи рассказал мне, что когда-то работал поваром у белого супрефекта в Занаге. Так что о белых он кое-что знает. Работал также старателем и на строительстве дороги в Долизи. А последние годы вот торгует по деревням.

Нзиколи очень выпукло обрисовал супрефекта. Он называл его «мосье Эээм»: супрефект каждое предложение начинал с этого междометия.

Я поведал Нзиколи о своих затруднениях, как на меня всюду таращат глаза и как меня все чураются. Я нуждаюсь в таком человеке, который помог бы мне наладить контакт, открыл бы, так сказать, ворота, объяснил бы людям, кто я такой.

— Ты не хочешь мне помочь?

Нзиколи отлично понимал мои трудности. Он ответил:

— Я думал и все здесь думают, что ты пастор, работаешь на миссионерской станции. А этой станции многие боятся. Бакуту верят, что там все — сатанинское отродье и от них надо держаться подальше. Во всяком случае, раньше так думали. Теперь-то миссионеров за сатану не принимают, но мы боимся, что вы нам запретите верить в Нзобби и Унгаллу, боимся, как бы ваш бог нам не навредил за то, что мы в него не верим. Вот почему мы сторонимся миссионерской станции, где

обитает ваш бог. Если ты хочешь пожить в деревня бакуту, я с удовольствием буду тебя сопровождать. Тебе лучше поменьше жить в миссии.

ЗАУПОКОЙНАЯ МЕССА В УМВУНИ

Умвунни — деревня бакуту, расположенная в долине в тридцати километрах к югу от Занаги, прямо на дороге. Деревня цвета охры: желтый песок и желтые дома среди зеленых круглых апельсиновых деревьев под белым небом.

Нзиколи явно провел здесь подготовку, потому что меня тотчас окружили веселые и любопытные жители. Подошел вождь и пожал мне руку двумя руками. На нем был черный сюртук, на груди сверкала приколотая большой булавкой, похожая на орден, эмблема власти.

Нзиколи я в первую минуту даже не узнал. Он щеголял в длинном розовом платье с пышными рукавами, явно шведского происхождения, хотя и весьма древнего фасона. Мой друг шествовал важно и чинно, насколько позволяло одеяние.

Я поздоровался с теми, кто стоял поближе, потом Нзиколи и вождь проводили меня до дома вождя, самого большого в деревне. Здесь меня встретила жена хозяина. У него было еще четыре жены, но они пока не вернулись с поля.

— Кель мэзон! Какой дом! Достойный вождя!

Нзиколи перевел, и мои слова явно доставили вождю большое удовольствие. Правда, обстановка оказалась скудной. В комнате, куда мы вошли, я увидел лишь источенный червями стол да несколько стульев. Окна отсутствовали. Света, который проникал через дверь, не хватало на все помещение. Черный сюртук и лицо вождя слились с темным фоном, только белки глаз и бляхи поблескивали. Женщины поставили на стол стопки и калембасу с пальмовым вином, и вождь еще раз приветствовал меня.

Мы поселились в доме Кинтагги Альфонсе. Кинтагги был интеллигентного вида стройный молодой человек

лет двадцати — двадцати пяти. Чтобы освободить нам место, он вместе со своими двумя женами перебрался к дядюшке, который жил через дорогу. Женщины подмели, прибрали, сбрызнули пол водой от земляных блох. На столе стоял в стакане розовый цветок гибискуса.

В доме было пять комнат; самая большая, в которую попадали с улицы, находилась посередине. Желтые глиняные стены украшала частая сетка трещин. Из комнаты слева проникал кисловатый запах теста. Она была загромождена утварью. Заметив в стене закрытое ставнем окошко, я решил открыть его, чтобы впустить свет. И насмерть перепугал ничего не подозревавшую курицу.

На полу стояли калebasы и глиняные горшки, поблескивала стеклянная бутылка с водой для питья. В больших корзинах лежали маниок и арахис, к стенам были прислонены гроздья бананов. В огромном белом эмалированном тазу с синим кантом лежали кружки, тарелки и алюминиевая кастрюля.

Следующая комната, совсем темная, должна была служить мне спальней. Когда я зажег керосиновую лампу, несколько тараканов поспешно скрылись под кроватью из связанных вместе пальмовых веток на деревянной раме. Я расстелил сверху свой спальный мешок и получил от Кинтагги пустой ящик взамен ночного столика. Нзиколи было отведено место для сна в комнате справа.

В пятой комнате хранилось самое драгоценное имущество Кинтагги — черный велосипед.

Вечером я, как сбычно, занялся своими ранами. Сидя полуголый на стуле, снял компрессы, прилепленные длинными полосами пластыря. Раны были чистые, но воспаленная кожа кругом зудела. Я принялся промывать болячки раствором хлорамина, и тут вошел Нзиколи.

— О, пардон, я не знал, что ты здесь!

Он повернулся, чтобы уйти, но в это время увидел раны.

— Что это у тебя?

Я рассказал про больницу и про операцию, нелестно отозвался о лекарстве, которое все не желало помогать.

— Здесь в деревне есть один человек, мне кажется, он может тебе помочь, — сказал Нзиколи. — Правда, он колдун, но у него есть билонго, лекарство против ран.

Почему не попробовать? И я попросил Нзиколи привести колдуна. Если от его снадобий станет хуже, выброшу их и опять посыплю болячки своим лекарством.

Немного погодя Нзиколи осторожно прокашлялся у двери и ввел в комнату морщинистого старца с длинной седой бороденкой. Нзиколи показал на мои раны и что-то сказал старику. Тот покачал головой и ответил ему глухим голосом.

— Он спрашивает, сколько ты заплатишь.

— А уж это мы посмотрим. Если не поможет, ничего не заплачу, а если поможет... Сколько он просит?

Нзиколи перевел мои слова и сообщил, что старец просит пятьсот франков.

— Ладно, согласен.

Колдун достал из мешочка, который висел у него на веревочке на плече, зеленые листья и клубок мочала. Сунул листья в рот, пожевал их, выдернул из клубка несколько волокон, наклонился над раной на бедре и выплюнул на нее зеленую кашицу. Потом положил сверху целый лист и обмотал лубяными волокнами. То же самое он проделал с раной на животе в том месте, где были наложены нижние швы. Но тут его лубяные волокна оказались коротки, и я прилепил лист пластырем. Старик смотрел на пластырь с удивлением и восторгом.

Я почувствовал холодок под перевязками. Что ж, пока вроде ничего опасного... Нзиколи проводил старца и обещал привести его снова завтра.

Впервые за много дней я ощутил приятное облегчение. Раньше, когда я вечером ложился спать, раны горели и чесались. На этот раз я крепко проспал всю ночь.

Рано утром Нзиколи опять пришел с колдуном. Мы сняли перевязку. Краснота бесследно исчезла. Правда, раны еще не закрылись, но выглядели несравненно лучше, чем накануне. На следующий день я увидел, что появляется новая кожица. Еще один день, и я убрал в чемодан свои бесполезные лекарства.

Старик получил тысячу франков. Но он ни за что не хотел сказать, какие листья применил. А Нзиколи не знал, где они растут.

Пока мы гостили в Умвуни, нам стряпала Ндото, первая жена Кинтагги. Супруг видел в ней только один

недостаток: она была бездетной. «Бог не даст ей детей...»
Вторая жена, Ампети, родила ему сынишку.

Зато Ндото отличалась великим трудолюбием, ни минуты не сидела без дела и все делала хорошо. Вместе с другими женщинами она возвращалась с поля уже под вечер. Снимала со спины большую корзину, наполненную продуктами, и сразу принималась готовить ужин. Сдвинув три полена, которые весь день лежали и тлели перед домом, она раздувала огонь. Затем ставила греть воду в глиняном горшке, брала из корзины гроздь зеленых бананов и очищала их. Я восхищался, глядя, как она управляет с тугими, незрелыми бананами, у которых кожура чуть не одно с мякотью. Один продольный надрез острием длинного ножа, поворот — и кожура отстала.

В две минуты горшок наполнялся очищенными бананами; крышку заменяли зеленые листья. Когда бананы от варки делались желтыми и пористыми, Ндото перекладывала их в корыто и разминала деревянным пестом. Корыто прижималось к земле большими пальцами ног, для этого на нем были две ручки-опоры. Готовое блюдо делилось на порции, которые заворачивали в зеленые листья. В такой свертке банановое пюре долго не остывало.

Итак, мы с Нзиколи были гостями семьи Киитагги. Нзиколи не перегружал себя работой. Просто поразительно, как он умел заставлять других работать за себя, причем я так и не смог разобраться, каким образом он с ними рассчитывается. Возможно, он умело использовал вес, который приобрел в глазах соотечественников, став моим сопровождающим. Так или иначе, у него оставалось предостаточно времени для своих дел. И когда Нзиколи не был занят продажей сережек и помады женщинам, он обычно вел негромкие беседы с жрецами и деревенскими старостами.

У Ндото была подруга — соседка Нганда. Участки майяки и арахиса, где они каждый день трудились, граничили. Обе отличались веселым и бойким нравом, их смех и разговор неизменно были слышны издалека.

Однажды подруги для разнообразия отправились ловить рыбу в речушке за деревней. И принесли в корзине несколько рыб, смахивающих на плотву, скользких уса-

тых выюнов и кучу раков. Способ лова был простой, но действенный. Они попросту перегораживали часть речушки и вычерпывали воду. После этого оставалось только собирать судорожно бьющуюся рыбу.

Ндото удивленно посмотрела на меня, когда я попросил ее сварить для меня раков в соленой воде. Другим она приготовила своего рода уху из раков, рыбы и пальмового масла, щедро приправленную перцем.

Раки были хотя и меньше шведских, но на редкость вкусные. Увидев, какое удовольствие они мне доставили, женщины стали почти каждый раз готовить для меня раков. Для этого им приходилось раньше обычного заканчивать работу в поле, чтобы до темноты поспеть еще и на реку. Вот уж не ожидал, что обед в деревне бакуту будет для меня начинаться с раков и стакана пальмового вина! Правда, так было только в Умвуни, но в других деревнях нашлись свои деликатесы, ничуть не уступавшие ракам.

Пальмовое вино кисло-сладкое, довольно терпкое на вкус, но освежающее и приятное, если пить его совсем свежим. Долго хранить его нельзя, уже на второй день оно прокисает, а на третий превращается в настоящий уксус. Заготовка вина — одно из многих повседневных дел. Рано утром, когда земля еще окутана сырой мглой, жена с корзиной и мотыгой отправляется в поле, а муж с пустыми калебасами и поясом для лазанья идет к своим «внешним» пальмам. Накануне в стволах делают засечки, а под ними привязывают калебасы, в которые и набирается сок. Утром калебасы опорожняют. Засечка чаще всего делается высоко, под самой кроной. Обхватил поясом из плетеного ротанга себя и ствол и лезь на высоту восьми-десяти метров.

Мужчины, которые, словно исполнские пауки, медленно карабкались вверх по пальмам, были обычным утренним зрелищем. Часто — чересчур часто — они падали и разбивались насмерть или сильно калечились.

Однажды утром, когда мы с Нзиколи тихо и мирно попивали свой кофе, с улицы донеслись шум и гомон. По деревне бежал мальчишка и что-то кричал с отчаянием в голосе. Лицо Нзиколи из удивленного стало суровым.

— Его отец упал с пальмы. Мальчик кричит: «Он убится! Он убится!»

Собрался народ, мальчишка, заливаясь слезами, указал на тропу, ведущую к масличным пальмам. Все ринулись туда и пропали в высокой траве. Деревню сковала тяжелая тишина. Дети бросили свои игры, всякая деятельность прекратилась. Потом снова послышались крики. С поля прибежала жена упавшего. Громко причитая, она поспешила следом за другими.

Я не знал, как себя вести. Чувствовал себя слишком чужим, чтобы вмешиваться. И только передал через Изиколи, что могу, если понадобится, тотчас отвезти пострадавшего в миссионерский диспансер.

Деревня замерла в немом ожидании. Первой вернулась жена. Прибежала на деревенскую площадь и начала с истошным криком кататься по земле. Она рвала на себе волосы и одежду, мазалась землей и песком.

Затем показались четверо мужчин с насех сделанными посылками. Следом молча шла мрачная толпа. На посылках лежал покойник. Перелом позвоночника. Запачканный белая рубашка и набедренная повязка были облиты пальмовым вином. Жена, причитая, упала на мертвого мужа. Идотто и другие женщины силой подняли ее на ноги, постепенно успокоили и увели в дом.

Туда же внесли покойника в гробу, который в два счета сколотил деревенский столяр. Дали знать родным и близким в соседних деревнях. Весь день к дому шли люди. Ближайшие родственники проходили внутрь, к жене покойного. Звучали нескончаемые громкие причитания.

Другие гости устраивались на улице. Женщины отдельно: печальные лица, глухие рыдания... Мужчины рассаживались вокруг костра. Как ни странно, они вовсе не были настроены трагически. Громко смеялись, переговаривались, словно бы и не слыша женских стенаний. Возможно, мужчин взбадривало прилежное употребление пальмового вина.

Дом покойного украсили зелеными лианами. На крышу положили шкуру дикой кошки, а по бокам воткнули рога антилопы. Изиколи пытался, как мог, объяснить мне смысл обряда. Дескать, шкура и рога посвящены Изобби, чтобы его дух витал над домом. На землю перед дверью положили четыре барабана; из банановой плантации за домом доносились выстрелы: там отгоняли злых духов.

На закате зазвучали барабаны, собравшиеся затянули унылую песню. Каждый по очереди заходил прощаться с покойным. В руках участников ритуала появились зеленые ветки. Затем вынесли гроб; тело было закутано в белую материю. Приколотили крышку, накрыли гроб красной накидкой и положили сверху четыре палки, обернутые шкурой дикой кошки.

Некоторое время длился спор, кому за кем идти в похоронной процессии. Он прекратился лишь после того, как несколько человек, рассердившись, ушли домой. Шествие возглавили три барабанщика. Они выбивали короткую резкую дробь. Восемь человек несли на плечах две жерди, на которых поперек был положен гроб. За гробом шли мужчины, после мужчин — женщины.

Четыре человека бегали взад-вперед, обмахивая участников процессии пучками веток. Можно было подумать, что они сражаются с мухами; на самом деле, они прогоняли злых духов. С полпути все женщины вернулись в деревню. Дальше идти им не полагалось.

Могила находилась за банановой плантацией. Она была неглубокая, от силы один метр. Дно застлано одеялом, стенки закрыты соломенными циновками с красивым узором.

Приподняв в одном конце крышку гроба, внутрь что-то засунули — что именно, мне выяснить не удалось. Когда гроб опустили в могилу, оказалось, что она корогка. Один человек сыркнул вниз и удлинил ее лопатой. Наконец гроб лег на место, его накрыли толстым слоем сухой травы, потом засыпали оранжевой землей.

Едва закончились похороны, мрачная атмосфера мигом развеялась. Собравшиеся громко разговаривали, курили, рассказывали забавные истории. Все смеялись, у всех были веселые лица. Вскоре толпа не спеша двинулась обратно в деревню.

Один за другим проходили дни моего пребывания в Умвуну, и я безропотно покорялся их течению. Знойные полуденные часы я часто проводил в обществе деревенских стариков на сампе — площадке под навесом на четырех столбах. В не ведающей времени Африке мы жарили земляные орехи, ели, дремали, иногда болтали, позевывая. Настороженность местных жителей, которые на



Веселый знахарь в полном облачении

первых порах не могли взять в толк, что я за птица, понемногу проходила.

Ночь ложилась на землю черным одеялом, мы сидели в крохотном мире, чьи рубежи очертил свет костра. Мелькали красные блики на коже, поблескивали белки глаз. Нзиколи пел песни Габона и рассказывал истории. Ндото исполняла любовную песенку, всего четыре слова, повторяющиеся снова и снова: «Ба боле, а, а. Ба пи... Ба боле, а, а. Ба пи...» — «Мы вдвоем, наша тьма... Мы вдвоем, наша тьма...»

Женщины танцевали лесимбу — несложный по композиции религиозный танец, который исполняют в память о покойных. Простота и регулярное — через каждые несколько дней — повторение ритуала придавали ему сходство с заседаниями наших кружков кройки и шитья. Вечером женщины собирались под навесом и выстраивались по краям сампы. К ним присоединялись двое из лучших барабанщиков деревни — Вума и Майянга. На земляном полу разводили маленький костер. Одна за другой женщины исполняли вокруг него сольный номер, каждая на свой лад, с многочисленными импровизациями. Остальные в это время переступали ногами на месте и отбивали такт сухими бамбуковыми палочками.

Сампа становилась живым организмом, где все было подчинено единому ритму. Руки и ноги пульсировали в свете огня, качалась серая пыль, без усталости рокотали суровые барабаны.

Поразительное преобразование! Женщины приходят на сампу после трудового дня, утомленные, измученные. И тут не лучше: пыль, тоска, застойный воздух... Но вдруг все оживает, все наливается силой!

Танец явно был для них необходимой отдушиной в серых буднях.

ТАНЕЦ ИНКИТЫ

Однажды мы с Нзиколи получили послание. Прибежал запыхавшийся мальчуган и вручил нам смятую бумажку. Вождь Банн Игомо из Обилли, селения на караванной магистрали Запага — Браззавиль, приглашал нас принять участие в большом празднике. Письмо было написано на французском языке, крупными изящными буквами, по всем правилам эпистолярного искусства, коим следуют деревенские писари: «имею честь вас пригласить», «с уважением» и все такое прочее.

Нзиколи объяснил мне, что к началу засушливого периода приурочено много праздников с танцами. Мы решили принять приглашение. Ндото снабдила нас провизией — две копченые обезьяны и большая коврига майяки.

Мы выехали рано утром сонные, продрогшие. Зелень была седая от росы, медленно таяла почная мгла. Нашу машину слышали и узнавали издалека. Ребятишки дружно выскакивали на дорогу и кричали: «Мботе тата Нзиколи!» — «Здражтвуй, отец Нзиколи!» Они подразумевали меня.

В Ингумине, где нам предстояло свернуть на караванную магистраль, я попросил Нзиколи подождать меня, а сам заехал на миссионерскую станцию. Во-первых, я случайно раздобыл шесть десятков яиц — слишком много для нас двоих. Во-вторых, не мешало на всякий случай предупредить, куда я направляюсь.

— Только не задерживайся! — волновался Нзиколи.

Раскисшая от дождя дорога была вся в рытвинах. Километр за километром она извивалась через густой девственный лес: кроны могучих деревьев смыкались над нами, пропуская только сине-зеленый сумрак. На одном повороте Нзиколи показал на просвет в листве.

— Здесь обитает злой дух. Дьявол. Много людей тут пропало.

И впрямь недоброе место — будто зловещий черный зев...

Внезапно лес кончился, и нас ослепило степное солнце. Мы обгоняли людей, которые шли в Обилли на праздник, целые семьи, отец семейства впереди — важный, с длинным охотничьим копьем вместо трости, одет в поношенный европейский пиджак или длинное, застегнутое на все пуговицы пальто, половина лица закрыта пожелтевшим тропическим шлемом. В нескольких шагах за ним, сгибаясь под тяжестью корзин и узлов, бредут, словно рабочий скот, жена и дети.

Уже вечерело, когда мы приехали. Отлогие косогоры вокруг деревни лениво дремали в лучах солнца. Зной шел на убыль, белое пламя сжалось в желтый круг, проявились краски.

Народу что муравьев. Вокруг костров кучками сидят мужчины, и непрерывно прибывают новые гости. Женщины, прямые, как колонны, степенно вступают на площадь, неся на макушке большие калebasы с вином. Приветствуют знакомых, не поворачивая головы. Мужья переходят от кучки к кучке, здороваются, смеются,

пьют пальмовое вино — здесь стакан, там стакан. Дворняжки, точно заводные, бегают взад-вперед, уткнув нос в землю в поисках чего-нибудь съедобного. Задрав верхнюю губу, куда-то трусит баран, соскучившийся по овечке. Голубой вуалью окутал деревню дым, смешанный с запахом вареного мяса, жареного арахиса и кислого маниока.

Нас устраивают жить у Беньямина, лучшего охотника Обилли. Он отводит нам большую комнату с белеными стенами, чистой, аккуратную. Глиняный пол украшен узором из гильз. Посередине комнаты стол, четыре стула. Ставлю у стены свою раскладушку. В соседнюю комнату то и дело проходят люди — родные и близкие Беньямина.

— Неужели все они будут там спать?

— Спать? — переспрашивает Нзиколи. — Они не будут спать! Танцы продлятся всю ночь. А там лежат только их одежда и узелки с едой.

У Беньямина была всего одна жена — Тереза. Эта чета во многом напоминала Кинтагги и Ндото и так же заботливо и чутко, как они, относилась ко мне.

Быстро стемнело, и мы зажгли керосиновую лампу. — Кокорро ко, — слышался голос за дверью.

Конголезцы не стучатся, только голосом подражают стуку.

Вошел местный вождь, очень высокий старый мужчина, чьи волосы напоминали серо-желтую бархатную ермолку. Сугубо серьезное лицо его избороздили длинные глубокие морщины, глаза прятались в щелочках. На нем была черная шинель с эмблемой власти и трехцветным флажком. Под мышкой он зажал метелочку из буйволова хвоста.

Вождь приветствовал нас и вытянул руку, в которой держал за ноги большого белого петуха. Петух повернул голову и поглядел на нас налитым кровью глазом. Подарок лег на стол, к нему присоединилась десятилитровая бутылка пальмового вина. Мы сели, но не успела Тереза достать и наполнить стопки, как за дверью снова слышался чей-то тихий голос.

Голос принадлежал коротышцу, который упорно отказывался войти в комнату и жался к двери. Гость сделал движение, словно хотел отставить в сторону свое копье, но тут же передумал. Только на миг сверкнули чернущие

глаза, потом они уставились в пол и уже не отрывались от него.

Это был вождь из Утуну, деревушки бабонго, которая лежала на холме в каких-нибудь четырехстах метрах от Обилли, совершенно скрытая банановыми плантациями. Туда вела узкая тропка, протоптанная в высокой слоновой траве.

Я впервые видел так близко пигмея. А впрочем, что я, собственно, видел? Только наклоненную голову, руку с копьем и пальцы ног. Он был завернут в большой кусок травяной материи. В Утуну тоже намечался праздник, но там танцы должны были начаться через день. Вождь бабонго пригласил нас. Мы поблагодарили, и Нзиколи поднес ему вина. Он живо опорожнил стопку и отворил дверь.

— Сала мботе! Привет вам, остающимся! — И вождь исчез в ночи. Но в комнате еще долго ощущалось дыхание диких дебрей.

Меня одолевала усталость, слегка лихорадило, и я прилег. Не иначе, комары Долизи дают себя знать... С низкой кровати я видел все, так сказать, под углом зрения лягушки. Тусклый свет керосиновой лампы размазывал контуры силуэтов, и сидевшие за столом казались великанами. Жестикулирующие руки, взрывы смеха, потоки слов, по стенам призраками мечутся тени... Бенъямин явно рассказывал что-то про охоту, то и дело слышалось: «Бам! Бам!».

Мало-помалу разговор увял, а там и вовсе прекратился. Остался только приглушенный шум деревни, как бы многоцветный ковер, сотканный из звуков. Высокие голоса женщин, низкие — мужчин, кудахтанье испуганной курицы, чье-то пение, детский плач. Женщина и ребенок переговаривались на улице, и голоса их звучали так отчетливо, словно они находились здесь же в комнате.

Поминутно отворялась и затворялась дверь. Она задевала глиняный пол, и ее надо было приподнимать. Беззвучно скользили мимо женщины в юбках, гремела посуда. Булькало наливаемое из калebas вино.

То один, то другой гость зайдет, но ненадолго, и опять в комнате пусто. Желтое пламя лампы. Темно-фиолетовая калebasа. Грязные стаканы.

Нзиколи уснул, одной рукой подпер голову, другая висит на спинке стула. Сознание в последний раз регистрирует безмолвные силуэты, потом все пропадает...

Вдруг просыпаюсь. Сонливость как рукой сняло. В уши врывается чеканная барабанная дробь. Ни нестройного шума, ни движущихся силуэтов, только крошечный мрак и барабаны. Встаю, оцупью нахожу стол и зажигаю лампу. Комната пуста, Нзиколи нет. Я и залитая вином белесая крышка стола. И мимолетное чувство, будто меня бросили, предали.

Но винить некого, я крепко уснул — должно быть, несколько часов проспал, и Нзиколи, наверно, заметил, что мне нездоровится. Холодно и сыро, лучше надеть куртку. Справившись с упрямой дверью, проваливаюсь в темень. Несколько головешек в прогоревшем костре — вот и все, но постепенно глаз привыкает и начинает различать контуры кругом, землю под ногами. Только в манговых деревьях за домами прочно засела черная, словно копоть, ночь. В абстрактном полусвете маячат какие-то фигуры.

У площадки для танцев стоят стеной сотни людей. Втискиваюсь в толпу и пытаюсь протолкнуться к круглому просвету посередине. Глядя между головами, различаю барабан и большой костер. Тесно, никто не хочет подвинуться. И танцы никак не могут начаться, неистовую барабанную дробь прерывают споры и раздоры. Что-то не ладится. Вождь, отделившись от толпы, произносит речь, но я ни слова не понимаю, а потому ухожу обратно в дом.

Появляется Нзиколи, спрашивает, как самочувствие. Мы кнхятим чай, я принимаю хиши, аспирин и снова забираюсь в спальный мешок.

Когда я среди ночи просыпаюсь опять, танцевальные барабаны рокочут уже ровнее. Будто могучий пульс или паровая машина с огромным маховиком, который не остановить. Зарываюсь головой в подушку, но похоже, что земля проводит звук и он через кровать вторгается прямо в ухо.

Теперь все равно не уснешь. Вяло одеваюсь и выхожу. Вся деревня в ритмическом трансе. Слитная толпа мерно колыхается, словно дышит могучий организм.

В центре медленно вращается плотное кольцо из женщин, которые присели друг за другом, живот к спине; красные от костра руки ходят, как поршни. Полузакрытые глаза, отсутствующий взгляд. Небо черное, тона парижской синей. Барабанщики, склонившись над своими барабанами, паяривают по ним короткими палочками; по темным синям струйками течет пот. Женщины поют на несколько голосов, повторяя одну и ту же короткую тему. Здесь повелевает ритм, могучий, властный и динамичный.

От толпы отделяется женщина в красной юбке. Кажется, это язык пламени вырвался из костра и начинает танцевать вокруг него, все быстрее, быстрее... Она делает резкие выпады в сторону, чаще и чаще звучат отрывистые вопли. И вот наступает кульминация: женщина выбрасывает руки навстречу мраку и кричит. Кто-то подбегает, хватая ее, и она погасшим огоньком исчезает в пульсирующей живой стене. Продолжает звучать неизменная, безучастная барабанная дробь. Снова и снова рамки коллективного танца взрываются импровизациями солисток. Время перестало существовать, никто не замечает, как подкралось утро, растворяя тьму в жидком сером рассвете.

Никто, кроме меня. Трезвый, спокойный дневной свет помогает мне отчетливо осознать суть танца, его самостоятельную функцию. Сумерки и ночь — поначалу туго, будто капризничающий стартер, — развязали силы, которых уже не обуздать.

Танец продолжался почти без перерыва весь день. Может быть, в полдень, когда солнце стояло в зените и воздух раскалился добела, его интенсивность поумерилась и кое-кто, обессилев, валился на землю в тени бананов или на пол в своем доме, но общий ритм от этого не нарушался.

Нзиколи ходил бодрый и возбужденный, хотя он за всю ночь не сомкнул глаз. На обед мы съели ковригу майяки и одну из обезьян, которыми нас снабдила Ндото. И все время слышалась барабанная дробь, ставшая привычным звуком, о котором не вспоминаешь, пока он не прекратится. Во время сиесты — моей сиесты — Нзиколи пришел за мной.

— Мосье, — сказал он, — иди теперь на танцы. Колдун будет танцевать.

Танец лесимбу кончился, кольцо женщины распалось, но барабаны продолжали перемалывать тишину. Толпа вокруг барабанщиков машинально раскачивалась. Все явно чего-то ждали.

Вдруг за одним из домов грянул ружейный выстрел. Это прогоняли бесов. Барабаны смолкли — все, кроме одного. Он задавал ритм и темп, точно метроном.

Кто-то зашел. Голос звучал то протяжно и тихо, то громко и возбужденно. Слова произносились то медленнее, то быстрее. Это были заклинания, обращенные к Нзобби. Внезапно под громкие крики на деревенскую площадь выскочила фантастическая, выкрашенная с ног до головы белым мелом фигура. Желтый передничек из травяной материи колыхался, рука размахивала над головой длинным ножом. Все расступились, освобождая проход к танцевальной площадке.

Несмотря на причудливую маскировку, я сразу узнал колдуна. Накануне он возлежал на шезлонге около костра, женщины стряпали ему еду, потом он побрел в свой дом. Тогда он выглядел старым и тщедушным.

Сейчас его никто не назвал бы немощным. В несколько прыжков он очутился у костра. Там, где танцевали женщины, теперь сидели кучкой старейшие. Колдун воткнул нож в груды углей. Глухо приговаривая что-то, отбежал на несколько метров. Смолк, топнул ногой по земле, прислушался. Казалось, он ищет наугад какое-то незримое существо.

Но вот он остановился, поднял голову и воздел к небу руки с растопыренными пальцами, ладонями вверх. И внезапно затрясся всем телом. Можно было подумать, что он с кем-то или с чем-то установил контакт. Один из старейших заговорил. Колдун внимательно его выслушал, потом громко повторил каждое слово. Несколько секунд напряженной тишины, лишь монотонно звучит барабан... Старик затрясся еще сильнее, вот-вот упадет.

И все время лился поток слов. Нзиколи объяснял мне шепотом:

— Колдун говорит с Нзобби. Мужчины задают вопросы, он передает их Нзобби, тот отвечает. Вопросы всякие — личные и касающиеся деревни в целом. Про одного больного — поправится он или умрет? Определяют виновника одной кражи... Что надо сделать, чтобы

уродился арахис? Не заколдована ли в деревне питьевая вода?

Так продолжается, пока не исчерпаны все вопросы. Чувствуется какая-то напряженность, на лицах участников ритуала написана глубокая серьезность. А мне не по себе, я не привык вот так запросто общаться с духами среди бела дня.

Как только Изобби ответил на последний вопрос, начинают рокотать все барабаны. Колдун по-прежнему где-то витает, но его ноги машинально двигаются в неторопливом танце. Сухая и твердая земля разбита ногами танцоров, и его ступни обволакивает пыль.

Колдун семенит вокруг костра, сперва медленно, потом все быстрее. Громкими криками он подстегивает темп. Это непостижимо, но его негнувшиеся суставы сбросили груз лет. Клубится облако пыли, и колдун похож на обезумевшего пловца — белый торс, лихорадочно машущие белые руки и мелькающий, как будто многократно повторенный, белый овал лица. Быстрые шаги сменяются экстатическими прыжками невероятной упругости, гиканье переходит в долгие завывания.

Вдруг он останавливается. Барабаны смолкают. Глаза колдуна остекленели, тело словно сковано судорогой. На несколько секунд все застывает, я вижу как бы стоп-кадр из фильма-концерта. В следующий миг колдун подбегает к костру, нагибается и хватает свой широкий нож. Металл раскалился добела. Все смотрят, затаив дыхание, а он медленно проводит им по языку. Наконец нож отделяется от языка. У толпы вырывается дружный вопль, барабаны издают частую дробь.

Дальше крикам аккомпанирует появившийся только что большой, двухметровый басовый барабан. Колдун уже снова мечется вокруг костра, взвинчивает темп, распалает себя и опять лижет раскаленный нож.

Затем наступает разрядка, экстаз выходит из колдуна, как воздух из лопнувшего шара, и его волокут в дом.

Весь этот день я видел пигмеев, направляющихся из дальних деревень бабонго на праздник в Утуну. Они, крадучись, пересекали окраины Обилли, не останавливаясь, чтобы посмотреть на танец бакуту, лишь пугливо озирались черными глазами. Бесшумная, кошачья походка... Только что никого не было, глядишь — уже появился человек.

Настало время подумать о предстоящей ночи; я не забыл личного приглашения вождя бабонго. В этом краю неистового, всеохватывающего танца мной тоже начало овладевать экзальтированное возбуждение. Глухой рокот барабанов бакуту звучал непрерывно уже целые сутки, он вошел в существование, как приправа, которая всем контурам придавала особую четкость, все наполняла живым и веским содержанием. И в то же время танец и музыка рождали смутную тревогу. Что-то зловещее появилось в топорщащихся черных силуэтах пальм, что-то угрожающее было в плотных кронах манговых деревьев.

Спустилась ночь. Она была не такая темная, как предыдущая. Сквозь легкую мглу пробивался лунный свет. Мы с Нзиколи сидели перед домом и беседовали. Танец в честь Нзобби должен был продолжаться до утра, и Нзиколи уговаривал меня остаться. Я же настаивал на том, чтобы пойти к бабонго. Во-первых, мы обещали вождю, во-вторых, от Обилли до Утуну рукой подать. Представится ли мне другая возможность увидеть танцы пугливых лесных людей? А бакуту я каждый день вижу. Нзиколи ворчал, и я чувствовал, что он ночью улизнет обратно в Обилли.

Меня очень интересовало, как выглядит язык колдуна после испытания раскаленным ножом. Нзиколи уверял, что колдун никогда не обжигается. Сколько раз Нзиколи видел, как он исполнял этот самый трюк, — и хоть бы что.

— Раньше он проделывал совсем невероятные вещи. Отпилит себе ногу, потом опять срастит. Теперь стар стал, сил уже не хватает.

Сил не хватает? Я подумал о том, что старик продемонстрировал в этот день, — для этого требовались недюжинные силы!

Около полуночи мы отправились в путь. Праздник Нзобби только-только развертывался, когда мы покидали Обилли. В последнюю минуту к нам присоединилась Апангве. Тропа шла вверх по длинному косоугору через высокую слоновою траву. Нас хлестали по лицу влажные от росы холодные метелки.

На гребне впереди прилепилась деревня пигмеев. Позади нас рокотали танцевальные барабаны бакуту, но в их ритм вкралось нечто новое, поначалу почти не-

заместно, потом все более явственнее. Вдруг я понял, в чем дело. Мы вошли в сферу танца бабонго, жителей Утуну. Частота барабанной дроби здесь была совсем другая, чем у бакуту, яростные очереди выбивались с сумасшедшей быстротой.

Едва мы вышли из высокой травы, которая играла роль защитного барьера, как мне заложило уши. В тусклом свете луны между серых, напоминающих грибы маленьких лачуг, в размытом кольце черных банановых растений мелькали тела и руки. Мы медленно протиснулись к центру. Я чувствовал себя несуразно огромным и совсем посторонним.

На столбе висела танцевальная маска со множеством причудливо торчащих перьев. Вокруг маски, лицом к ней, плечом к плечу стояли мужчины. Наклонившись вперед, они ритмично трясли сухие стручки и калемасы с камешками. Их спины блестели от пота. Танец не был сосредоточен в одном месте, танцевали по всей деревне.

Малюсенькие женщины с качающимися на спине кукольными младенцами, туманная пелена пыли — все придавало сцене оттенок нереальности. Апангве и Нзи-коли держались особняком в ритмично колышущейся плотной массе, странно недвижимые, как бы выключенные из игры.

Вдруг Апангве сделала мне знак. Я подошел к ней, и она подвела меня к одной из лачуг. Из двери лилась волна теплого света. Апангве, опять-таки знаком, дала мне понять, чтобы я не входил, а смотрел, стоя снаружи. Внутри танцевала инкита, на фоне желтого пламени порхал черный силуэт. Я подошел ближе. Инкита танцевала, будто заколдованная, в огненном аду. Она была закутана в большие куски травяной материи и с головы до ног натерта кирпично-красным порошком. На руках и ногах массивные латунные браслеты, на шее множество бус: бисер, красные и синие стекляшки, белые ракушки. На щеках и на лбу нарисованы белые пятна с синими точками.

У самой двери, словно переплетенные, сгрудились маленькие съежившиеся фигурки, они творили властный, повелительный ритм. Их руки яростно обрабатывали струнные инструменты с лязгающими жестянками, неистово трясли стручки и погремушки. Один музыкант



Инкита. Лицо расписано белыми полосами с красными и синими точками

полулежал на большой черной калюбасе и прерывисто дул в нее: бу-у-у... бу-у-у... бу-у-у...

Кругом стояли живой, пульсирующей стеной мужчины и женщины, и от колыхания этой стены вся лачуга трещала по швам. Инкита одна танцевала перед огнем — медленно, как бы выжидая чего-то. Поблизости стояла ее помощница.

Вдруг ноги инкиты затрепетали птичьими крылышками в серо-красной пыли. Она танцевала вприсядку. Нижняя часть тела бешено работала, а руки тянулись к огню, как к магниту. «Иа-иа-иа!» Громкими криками она взвинчивала скорость. Потом опять сбавила темп, включила, так сказать, свободный ход, перед тем как взять новый разгон. Вспышки следовали одна за другой все чаще и чаще — и все ближе к очагу. И вот уже танец идет без промежутков, инкита — олицетворенное красное безумие, язык пламени.

Музыка гулко отдавалась в тенях под потолком. Огонь всосал в себя ноги женщины, угли и головешки полетели в разные стороны, в лачуге рассыпался сноп искр. Внезапно инкита вся поникла, ноги ее остановились, она медленно покачалась с закрытыми глазами и упала навзничь. Подбежала помощница, схватила ее и вытащила из огня. Инкита лежала, как окаменелая, руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. Помощница выпрямила палец за пальцем, разогнула ей ноги, руки. Потом набрала в рот пальмового вина и обрызгала лицо.

Судороги прошли, только изредка по телу инкиты пробегала дрожь. Ей втиснули между зубами деревянную палочку, потом отнесли к стене и положили на пол: она была без сознания. А музыка не переставала звучать, и пока следующая инкита, вступив в танец, доводила себя до экстаза, первая постепенно пробуждалась.

Пробуждение было отмечено долгими рыдающими воплями, которые перекрыли адский шум. Напрягаясь, она села. Глаза приоткрылись, но зрачки были мутные, взгляд неосмысленный. Время от времени она вздрагивала всем телом, и снова, будто стон из другого мира, звучал ее жуткий, исполненный ужаса крик. Постепенно зрачки инкиты прояснились, руки и ноги зашевелились, нащупывая ритм. И вот она встала, и ноги начали пританцовывать. Впечатление такое, словно музыка приво-

дила ее в чувство. А вторая инкита уже лежала на полу, скованная судорогой.

Они чередовались так всю ночь. Под конец я настолько пресытился возбуждающим ритмом, что голова готова была лопнуть и хотелось только бежать куда-то, спрятаться. Я повернулся, — но вся деревня колыхалась в мерцающем белесом море танца, от него просто не было спасения.

Тогда я пошел обратно в Обилли, внушив себе, что там я запрусь в комнате, залезу в спальный мешок и вздохну спокойно. Не тут-то было. В деревне бакуту со всех сторон и ниоткуда звучала барабанная дробь, все колыхалось, воздух в комнате ходил ходуном, кровать будто парила... Здесь безраздельно властвовали танец и ритм.

Я попробовал заткнуть уши, ничего этим не добился, встал и снова пошел в деревню бабонго смотреть танец инкит. Под утро я рухнул на свою кровать и погрузился в тяжелый сон.

До чего легко здешние люди впадают в экзальтацию, воспринимая жизнь как танец! Где проходит граница? В разгар повседневных будничных дел вдруг, будто ураган, в деревне разражается танец. И вот уже все им захвачены, и не остановишь его, все танцуют, танцуют, пока не иссякнут силы, и люди лежат, как рыба на песке, жадно глотая воздух. Обессиленные от танца отдохнут, отлежатся несколько часов — и снова в строй! В целом же танец, как таковой, танец как состояние не прерывается.

Нельзя оставаться безучастным чурбаном, когда двести человек вокруг тебя охвачены экстазом танца. Первое время мне было не по себе, я боялся опростоволоситься, чувствовал себя вроде бы обнаженным. Еще я боялся, что эмоциональный дурман может вылиться во что-нибудь неожиданное и опасное. Пока у меня не установился близкий контакт с местными жителями, я все опасался, что может вспыхнуть давняя неприязнь к белым. Но мои опасения не оправдались.

И мое внутреннее сопротивление общему порыву было сломлено очень быстро, оно выглядело просто смешным, когда поднималась волна страстей. Миг — и ты уже сам захвачен танцем, стал частью механизма коллективного движения, подчинившего себе все тела и души.

ЧУВСТВЕННЫЕ ТАНЦЫ

После больших праздников в Обилли и Утуну мы с Нзиколи поехали дальше, в сторону плато, где живут батеке. Дорога лишь местами отвечала своему названию, да и то вблизи деревень. За каждой деревней закреплен определенный участок, и мы то и дело видели женщин, орудующих мотыгами в облаке пыли. Благодаря их усилиям въезд и выезд были вполне приличными. Но рабочей силы хватало только на несколько сот метров.

В целом же дорога чаще всего представляла собой протоптанную в траве и кустарнике тропу. Угрюмой стеной по бокам стоял дремучий лес, могучие белесые стволы торчали из густого подлеска — зеленого месива колючек и мелкой листвы. Сквозь высокий темный полог крон ослепительными снопами лучей пробивался дневной свет. Лианы обвивали стволы или свисали вниз буксирными концами. Трещая сучьями, бежали прочь стаи обезьян, с хриплыми криками взмывали в темно-зеленый влажный воздух птицы-носороги.

Просто диво, как хорошо тут шла наша машина. Гибкие сочленения делали ее похожей на живое существо. Когда она застревала в грязи, мы с Нзиколи вдвоем вполне могли приподнять то или иное колесо и подложить траву и сучья. Правда, с передним приводом трудно было взять крутой подъем. Колеса буксовали на мокрой траве и на потопото — глине. Дождевой сезон начался, и земля была либо твердая и мыльно-скользкая, либо совсем раскисшая. В густом лесу узкая дорога не успевала просыхать между дождями. Подъемы лучше всего было преодолевать задним ходом, колеса не так буксовали. Нзиколи слегка удивился в первый раз, когда я развернул машину задом наперед. Он подумал, что мне надоела эта капитель и я решил возвращаться. Но и этот способ не всегда помогал, приходилось идти до ближайшей деревни за людьми, чтобы подтолкнули, или привязывать длинную лиану и с ее помощью втаскивать машину на бугор.

На переправе через маленькую речушку мы прочно засели. Высокая трава скрывала ее, и мы увидели мостик, когда уже было поздно. Передние колеса прова-



Чувственные танцы

лились и застряли между бревнами настила. Длинной вагой мы одно за другим сумели поднять колеса. Воздух кишел слепнями и мухами цеце, от которых мы отмахивались ветками. Солнце нещадно палило, пот ел глаза, у меня разболелась голова, перед глазами плясали солнечные зайчики.

Мухи цеце водятся здесь у всех водоемов. Но откуда слепни? Прилетели на запах пота?

— Должно быть, поблизости есть буйволы, — объяснил Нзиколи.

И тут же, вскрикнув, показал вперед. Послышался громкий треск, и метрах в пятидесяти от нас вышла

из чащи пятерка слонов. Помахивая ушами и качая хоботами, серые великаны пересекли дорогу и исчезли в зелени с другой стороны.

— Тут до деревни недалеко, — сказал Нзиколи. — За следующим поворотом ее будет видно.

У поворота дорога растворилась в болотце, а за болотцем лежала деревня. Оставив машину, мы перешли его по колена вброд. Сперва деревня показалась нам безлюдной и заброшенной, но в тени под навесом мы нашли людей. Лежа в шезлонге, спал вождь, несколько стариков у костра грызли арахис. Все остальные жители были в поле. Им предстояло провести там всю ночь, охраняя майяку и орехи от слонов. За последнее время слоны произвели немалые опустошения на плантациях, приходилось дежурить там по ночам, отгонять их огнем и трещотками.

До следующего дня, когда вернутся мужчины, мы не могли рассчитывать на помощь. Нам отвели для ночевки большой дом. Над входом висел череп гориллы — бело-розовый в свете вечернего солнца, с черными провалами глазниц.

Я лег рано, утомленный трудным днем. Утром мужчины вернулись и рассказали, что на этот раз слоны не показывались. А затем почти вся деревня отправилась выручать автомашину. Мы подсунули под нее длинные бамбуковые жерди, самые сильные мужчины подняли их за концы, положили себе на плечи, и отряд медленно побрел вперед по глубокой грязи. Носильщиков качало, они утопали по пояс, но все таки вынесли машину на сухое место. Только теперь мне сказали, что дальше проезда нет. Многие речки разлились, а от деревни до деревни далеко. Выходило, что машину можно было и не вытаскивать!.. Впрочем, лучше ей все-таки стоять в деревне: от слонов всего можно ждать.

Для дальнейшего путешествия я нашел себе четырех носильщиков, а машину поставил в тень под большими бананами, за домом вождя. Чтобы никто не посмел ее трогать, Нзиколи подвесил на дверцах маленькие талисманы.

Деревенский знахарь всю ночь сидел в своем доме и бормотал заклинания против слонов. Только на минуту он вышел к костру, весь измазанный красной охристой землей. При этом отрывисто и сурово звучал ба-

рабан, мелькали желтые языки пламени, колыхались черные тени.

...В сумраке под исполинскими деревьями извивалась древняя караванная дорога. Деревни находились в среднем на расстоянии дневного перехода друг от друга. Нзиколи шел впереди, неся в руках керосиновый фонарь, который он явно считал самым ценным предметом нашего снаряжения. Посильщики, шагая следом за мной, громко смеялись. Я спросил, в чем дело.

— Так, ничего особенного.

Но смех не прекращался и звучал все громче. Определению, они смеются надо мной! Что-нибудь с одеждой? Я ощущал себя сзади. Нет, все в порядке. Тут я обратил внимание на странную походку Нзиколи. Что с ним такое? И вдруг до меня дошло, что точно так иду я сам, что он изображает мою походку, мою усталость. Вот они и хохотали.

Нзиколи рассказал мне, что при нем в Занагу прибыл первый миссионер. Высокий, тучный человек, он шел пешком из деревни в деревню, подыскивая место для миссионерской станции. На крутых подъемах миссионер приказывал своим чернокожим спутникам подталкивать его сзади.

Я этот способ не испробовал, хотя под вечер мне бывало трудно поспевать за остальными. Жизнь превращалась в тяжкое бремя, ноги ступали механически, я должен был предельно сосредоточиться, чтобы не упасть. Эх, лучше бы меня несли...

Опять затопленный участок... Желтая глинистая вода, торчащие камни. Издали увидев их, я с тоской подумал о том, что придется менять темп. Мы шагали быстро, я уже втянулся в размеренный ритм автоматической ходьбы — левой-правой, левой-правой. Сбавишь темп — сразу почувствуешь усталость. И я попытался соразмерить шаги с расстоянием между камнями, но промахнулся и шлепнулся в жижу. Лежа в грязи, я чувствовал, как на меня находит бессильная ярость. Пусть только кто-нибудь хихикнет или участливо спросит: «Ты не ушибся?» — вскочу и отведу душу доброй бранью!

Но я не услышал ни того, ни другого. Стояла мертвая тишина. В конце концов я поднял голову. Мои товарищи стояли парализованные страхом и тревогой. Ярость моя прошла так же быстро, как родилась. И когда я

встал и сказал: «Са ва»*, в ответ раздался хохот облегчения.

Временами, когда нас одолевала тоска от однообразной ходьбы, Нзиколи затягивал песни, старинные песни носильщиков той поры, когда белых носили через дебри в киной — своего рода паланкине. Нзиколи запевал, остальные подхватывали. Быстро подчиняясь ритму, мы забывали тяготы. И часто, несмотря на смертельную усталость, чуть не бегом врывались в очередную деревню, во власти этакого песенного транса.

Бакуту — гордые, независимые люди, из всех здешних обитателей, пожалуй, лучше всех сохранившие исконное своеобразие. В колониальную пору французские власти повелели вынести к дорогам все деревни, чтобы легче было надзирать за ними. Но кое-где старая деревня сохранилась как место ритуалов, праздников и танцев.

В такой деревне можно застать Конго, каким оно, наверно, было веками. Будто органическая часть окружения, откуда-то из леса звучит рокот танцевальных барабанов.

...Шагаешь в сумрачной тиши, и любой звук громко отдается. Вспархивают большие черные ночные бабочки, а дневная жизнь — тараторящие обезьяны, птицы, ветер, солнце — словно отгорожена туннельными сводами подлеска.

Однажды мы во второй половине дня вышли к очень красивой деревне. Она была вся красная, как будто вплавленная в густой лес. Здесь можно было видеть ничем не заслоненные деревья во весь их исполинский рост. Глухая стена высотой сорок-пятьдесят метров заключила деревню в свои угрюмые объятия. После целого дня странствий в лесном сумраке мы вдруг ощутились под немилосердными лучами ослепительно белого света. Симметричными рядами льнули друг к другу маленькие хижины, разделенные улочками, мандариновыми деревьями и банановыми плантациями. По улицам бродили козы и овцы, куры и собаки. Деревня перемешала жаркие краски солнечного пекла: красная латеритная

* «Ну ничего!» (франц.).



Поначалу мужчины только смотрят, потом их роль становится более активной

почва, глинобитные домишки, желтый тягучий зной, черные тени... Красно-желто-черно-белое.

На постоялом дворе, а попросту в лачуге для приезжих мы застелили пол банановыми листьями для защиты от земляных блох и клещей. Во всех домах, которые временами пустуют, собирается гьма всякой нечисти, и больше всего мы опасались клещей. От их укуса можно получить тяжелую лихорадку.

Мы устроили себе постели, развесили сетки от комаров. Пришел вождь. Он вел на веревочке козу — она и несколько яиц предназначались в подарок нам. Я отбла-

годарил рубашкой, банками сардин и курительной трубкой. Трубка особенно его обрадовала. Сидя в полумраке, мы курили адски крепкий местный табак. Из двери было видно девушку, которую мобилизовал Нзиколи. Завернутая в кусок фиолетовой материи, она стряпала нам обед; на огне булькал черный глиняный горшок, накрытый зелеными листьями. А вот и сам Нзиколи идет с большим куском только что сваренного змеиного мяса, раздобыл в одном из соседних домов. Змею — крупного питона — убили утром на банановой плантации.

Мы торжественно пригласили вождя разделить нашу трапезу. Семь человек окружили шаткий столик, озаренный скудным светом керосинового фонаря. Тихая барабанная дробь из леса была словно аккомпанемент ко всему, что мы говорили и делали. Белое мясо питона оказалось очень вкусным, но довольно жестким и все время застревало в зубах. Красный от перца соус, в который мы макали маниок, обжигал огнем. Я осторожно спросил, нельзя ли мне посмотреть танцы. Вождь покачал головой. Однако, услышав от Нзиколи, что я бакуту, хотя и белый, он уступил.

После ужина я лег вздремнуть. А потом пришел Нзиколи:

— Мосье, человек, который покажет тебе танцы, ждет на улице!

В небе висит полная луна, залитая пепельным светом деревня — как рисунок тушью. Людей не видно, все ушли к танцевальной площадке. Лишь кое-где тлеют костры, у которых съежились одиночные силуэты. Безмолвно ждет черный проводник. Он почти голый, только лоскут материи свисает впереди с узкого поясного ремешка.

— Мботе!

Он кивает в ответ, и мы входим в черную дыру в стене леса. Вокруг нас смыкается мрак, я вынужден взяться за пояс проводника. Он молча скользит впереди, я вслепую ковыляю следом. Непостижимо, как он различает тропу. Причем ступает быстро и решительно. Вырвись он сейчас и брось меня, я буду совершенно беспомощен. Один в такой темноте ни за что не найду пути обратно. Да белый здесь и днем не пройдет.

За ужином вождь рассказал мне, что не так давно на деревню напали леопарды. Они сорвали дверь одной

лачуги на окраине, вошли и утащили в лес двух спящих женщин.

Неужели в моем проводнике нет ничего человеческого, хоть бы кашлянул... Но он не издает ни звука, этаким незримым радар где-то во тьме передо мной. Пытаюсь подбодрить себя, насвистываю легкомысленную шведскую песенку. Не помогает. Мне слышатся шорохи сзади, чудятся светящиеся глаза...

Рокот барабанов звучит все громче, среди черных стволов возникает просвет, и вдруг лес обрывается. Передо мной залитая лунным светом деревенская площадь и сотни людей, стоящих в несколько рядов по краю широкого эллипса. Внутренний ряд составлен из одних мужчин, за ними — женщины и дети. Самые маленькие качаются на спинах матерей. На бархатно-черном фоне леса молочно-белым силуэтом выступают провалившиеся крыши заброшенных лачуг.

Барабанчики без конца выбивают одну и ту же жесткую монотонную дробь. Лоснящиеся от пота, стоят они, широко расставив ноги, над длинными барабанами и колотят по ним палочками или ладонями. Время от времени кто-нибудь делает короткий перерыв и, поплевав на кожу барабана, подогревает ее над маленьким костром. Белый свет и черные тени выписывают абстрактные узоры.

Напористая динамика ритма заставляет весь воздух колыхаться, словно дышат огромные легкие. Все поют, держась одной основной ноты. Люди как бы срослись с ритмом, голоса сплелись воедино, в некую первобытную силу.

Внезапно из хора ракетой вырвался пронзительный женский голос, зазвучала пулеметная скороговорка. Темп сразу увеличился, напряженность переросла в тревогу. Жестче и жестче, быстрее и быстрее барабанная дробь. Все чаще раздаются крики и вопли, люди взвизгивают себя до той грани, за которой все грани исчезают.

Мой чернокожий проводник повернулся спиной, чтобы не поддаться. Ему явно было велено не оставлять меня. Он сел, скрестив ноги, оперся локтями о колени и зажал уши ладонями. С опушки, на которую мы вышли, весь танец был виден, как с балкона. Деревня находилась в лощине.

Появляется колдун. В переднике из гравяной материи, обвешанный леопардовыми хвостами, он скачет и мечется, словно бес, пересекает площадку с такой скоростью, что кажется — он находится одновременно в нескольких точках. Барабанщики трудятся механически, с отсутствующим взглядом. Стоит кому-нибудь свалиться от усталости, как его тотчас сменяет другой.

Время за полночь, луна прошла зенит. От мужчины к мужчине в волнующем танце скользит разрисованная белым мелом и обвешанная побрякушками восхитительно гибкая танцовщица. В ту самую минуту, когда мужчина, доведенный до исступления, готов броситься на нее, обольстительница, качнув бедрами, отступает и переходит дальше. Одного за другим захлестывает волна неистового вожделения — и спадает опять. Раззадорив всех, женщина исчезает.

Но вожделение остается, и его надо утолить. Замкнутый круг распадается, мужчины и женщины образуют пары и танцуют лицом к лицу, но не касаясь друг друга. В обволакивающем чувственном ритме все медленно кружат вокруг барабанов. Темп нарастает, страсть расплывается и переходит в экстаз.

На рассвете мы возвращаемся через лес. Мокрые штанины шлепают по ногам, на лицо липнет паутина.

В этой деревне мы с Нзиколи гостили несколько дней. Порождение охристо-красной земли, она была на редкость живописна. Небо под вечер пылало оранжевым пламенем, деревенская площадь была словно раскаленное дно кастрюли, а кругом сплошной темно-зеленой стеной стоял дремучий лес. Жизнь в этом замкнутом пространстве тесно сплачивала людей. Вместе они оборонялись против упорно наступающих дебрей, против диких зверей, против бесов и колдовства. Грозный лес определял лицо всей деревни.

Вечерами мы сидели у какой-нибудь хижины, окруженные чуть не всеми жителями деревни, исли, рассказывали истории. Не зная языка, я мало что понимал.

Душные ночи, полудрема в шезлонге. Тлеет костер, спящие псы уткнули морду в золу, сидят, тихо беседуя, темные группы людей. А кругом цикады, цикады, цикады и светлячки, и пальмовые кроны, и серебряный лунный свет.

В последний вечер Нзиколи зарезал козу, подарок

пождя. Мы наелись до отвала и выпили изрядное количество пальмового вина, после чего легли спать пораньше, чтобы с восходом солнца отправиться в путь.

Среди ночи я проснулся от дикой рези в животе. Зажег керосиновую лампу — тараканы бросились врассыпную — и сунул ноги в сандалии. Уборная находилась среди бананов за домом, рядом с лесной опушкой.

Меня знобило, я обливался холодным потом. Скорее, скорее, пока не лопнуло брюхо..

В рассеянном свете застыли бананы, поблескивая широкими листьями. Не то ждут чего-то в немом раздумье, не то просто спят. Теплый воздух недвижим. Между стеблями бананов смутно различается поодаль край леса. Никаких красок, только пепельно-серые переливы и густые тени.

Кажется, там, среди серых силуэтов, что-то шевелится? Или то колышется запутанная вязь листвы? Вряд ли собака или овца отважится подойти к лесу среди ночи, хотя в мягком свете луны он кажется совсем мирным и безмятежным.

Вдруг сон с меня как рукой сняло. Ну, конечно, что-то движется! Очевидно, зверь. Голову пронизывает мысль о леопарде и убитых женщинах, и мной овладевает безумный страх. Отрешенно слежу за передвижением зверя. На светлой прогалине среди бананов он останавливается, тихо ворчит и медленно-медленно поворачивается.

Это большой леопард. Я вижу его сбоку. Черные пятна, медленно покачивающийся длинный хвост. В деревне громко блеют овцы.

Леопард поднимает голову, принюхивается, потом начинает приближаться ко мне. Как будто плывет в жидком масле... Теперь он заслонен от меня плетнем, но я хорошо вижу его в щели. Между уборной и хижинкой, в каких-нибудь десяти метрах от меня, зверь садится на задние лапы.

Вот это влип... В голове одна-единственная мысль: оставаться возможно незаметнее. Подолгу задерживаю дыхание. Леопард поворачивает голову, смотрит назад. Проследив его взгляд, я вижу другого леопарда. Должно быть, самка. Он сидит и ждет, она подходит к нему, они трутся друг о друга. С глухим ворчанием оба медленно удаляются в другой конец плантации.



Мужчины и женщины составляют пары

Ушли. Но я еще долго продолжаю сидеть, собираясь с духом. Потом срываюсь с места, несусь как одержимый к хижине, вбегаю внутрь и захлопываю за собой дверь.

ИСТОЧНИК СИЛЫ

Нескопчась и однообразен путь через дремучий лес, за каждым поворотом все то же: несколько метров серо-желтой земли, дальше трава, и по обе стороны зелень, зелень, зелень.

Лачуга у дороги: несколько пальмовых ветвей, связанных вместе вверху. На земле перед входом сидел молодой парень. Откуда он, ведь до деревни здесь далеко? Он сидел нагишом под палящими лучами солнца, ничем не занятый. Двенадцать часов, солнце прямо над головой.

Подойдя ближе, мы заметили на лице парня широкую улыбку. Но хотя глаза его были обращены на нас, он как будто видел что-то другое, за нашей спиной. Или что-то происшедшее вчера.

— Это дурачок, — пробормотал Нзиколи.

Кожа парня была странного, мертвенно-серого цвета. Он палелся землей. Нзиколи протянул ему ковригу хлеба из майяки. Он молча взял ее, привстал, потом на четвереньках юркнул в шалаш.

Нзиколи объяснил мне, что душевнобольных родные часто выдворяют из деревни. Если человек не совсем умалишенный, если он не уходит в лес, где либо умрет с голоду, либо будет убит леопардом, он некоторое время может перебиться. Смирные дурачки, которые вроде этого парня селятся возле дороги, могут рассчитывать на милосердие прохожих. И ведь не всегда их изгоняют из деревни. Бывает, родня помещает дурачка в лачугу на околице и заботится о нем.

Родственники парня, который встретился нам, жили в деревне в нескольких километрах. Мы попробовали уговорить их забрать его домой, но из этого ничего не вышло. Они даже отказались починить его шалаш, хотя мы предложили заплатить за это.

В этот день у Нзиколи случилась серьезная беда. Он потерял свои очки. Правда, на его зрении это никак не

отразилось, ведь речь шла о самом обыкновенном, гладком стекле в тонкой круглой оправе. Зато под угрозой оказалось его достоинство. Как правило, когда мы вступали в очередную деревню, Нзиколи шел впереди. Подойдя к вождю или старейшинам и, представляя меня, как бы невзначай извлечет из кармана очки, тщательно протрет стекла уголком рубашки, подышит на них и еще раз протрет. И наконец со страдальческим вздохом наденет очки. Не буду утверждать, что после этой церемонии любой вождь проникался безграничным почтением к нему, но она, несомненно, прибавляла Нзиколи уверенности в себе.

Нзиколи страшно переживал утрату, и даже мое обещание раздобыть ему десять пар таких очков, как только я вернусь в Долизи, не утешило его. Пришлось возвращаться и искать. Представляете себе: искать в джунглях Конго потерянные очки! Впрочем, это было вполне в духе этого края, где времени не считают. В придачу к очкам мы потеряли целый день, очков не нашли и вечером очутились в той же деревне, из которой вышли утром.

Честное слово, Нзиколи никак не мог пожаловаться на свои глаза. Как-то раз мы сидели в тени на поваленном стволе, пережидая самую жаркую пору дня. Вдруг Нзиколи показал на кусты через дорогу.

— Видишь змею?

Я внимательно пригляделся, но увидел только густое сплетение зеленых ветвей.

— Где? Никакой змеи не видно.

Мы встали. Нзиколи взял палку и показал.

— Да вон она!

Сколько я ни смотрел, я видел одни ветки в гуще темной листвы. И лишь когда Нзиколи, подойдя вплотную, чуть не коснулся палкой сучка, я распознал в нем медленно ползущую змею.

Постепенно дремучий лес начал редеть. Мы приближались к рубежам обширных саванн, обрамляющих плато батеке. Все чаще деревья расступались, открывая похожие на луга прогалины, зеленый травяной ковер, издали очень заманчивый. Так и хочется прилечь, когда ноги налиты свинцом. Но при ближайшем знакомстве восторг проходил. В молодой траве пряталась жесткая стерня, след пожаров засушливой поры. Да и сами ярко-зеленые

травинки были острые, как шило, и шершавые, словно рашпиль. Земля каменистая, неровная.

Последняя ночевка в деревне бакуту, и мы вышли в саванну. Как безбрежное море, простерлась волнистая степь с холмами, нечастыми рощами и голубыми далями.

Другой ландшафт — другие деревни. Селения батеке открытые, в них много воздуха и ветра, больше голубизны. А ведь жилища такие же: обмазанный потопото каркас из жердей, крыша из листьев или травы. Домики стоят либо в круг, дверью к деревенской площади, словно обрамляя ее ожерельем, либо в два ряда вдоль проселочной дороги.

Батеке не разводят так много бананов, во всяком случае, здесь я не увидел, как у бакуту, по плантации за каждым домом. Зато деревню батеке сразу узнаешь по кумирне на краю площади. Она обычно не больше собачьей конуры, но в ней собраны все деревенские боги-хранители.

Эти маленькие постройки овеяны ореолом таинственности. Меня разбирало любопытство, и я кружил возле них, как кот возле миски с горячей кашей. Но местные жители делали вид, что они тут ни при чем. Спросишь кого-нибудь, сразу насторожится и теряет дар речи. К тому же многие ни разу не видели своих собственных богов. Просто воспринимали их присутствие в кумирне как непреложный факт. Правда, такой факт, который накладывал своеобразный отпечаток на всю жизнь деревни. Только колдун знал богов «в лицо», да еще, может быть, вождь и кто-нибудь из старейших. Они втайне советовались с богами о деревенских делах.

Но у батеке есть и домашние боги, духи-хранители, защищающие от болезней и всяких бед. Вырезанные из твердого дерева, чаще всего старые, отполированные множеством рук, с темной патинной из грязи и жира.

Многие скульптуры выполнены с замечательным мастерством, с любовью и чувством. Форма чрезвычайно скупая, точная и насыщенная. Даже трудно объяснить, как художественная выразительность этих изделий могла достичь столь высокого уровня, такого непринужденного совершенства. Они кажутся неотъемлемой частью окружающего пространства, времени, людей. Авторы явно выражали душу всего народа и бессознательно добивались предельно выразительных и чистых линий.

Каждая скульптура олицетворяет какого-то предка, и после освящения ее колдуном в нее вселяется дух этого предка. Чем лучше исполнение, чем больше чувства вложил в работу резчик, тем сильнее впечатление. Обычно фигуры ставят у стены на земляном полу. В полумраке хижины безмолвные идола излучают глухую тревогу, от них как-то не по себе. Это ощущение не исчезает, что бы ни происходило в хижине. Люди поглощают горы еды, поют, спорят, ссорятся и кричат — и все время ощущают присутствие деревянных идолов. Стоя в своем углу, они как бы пылают внутренним огнем.

Есть и совсем маленькие божки, дети носят их на веревочке на шее — защитные талисманы, с которыми не расстаются ни днем, ни ночью. Такого божка можно упрятать в спичечный коробок, а вырезан он просто и выразительно, подчас удивительно красиво. Чаще всего мальчик носит маленькую копию крупной скульптуры, стоящей в хижине у его ложа. Он получает их обе при рождении, они должны охранять его вплоть до обрезания. Потом их можно и выбросить, они исполнили свою роль. Для идолов батке типично, что почти все они вырезаны с ямкой на животе, куда колдун при освящении фигурки помещает чудодейственные предметы.

Это могут быть ядовитые зубы змеи, семена, причудливые камешки, ракушки, листья. У богов плодородия в ямку слой за слоем кладут частицы послета. Как в деревне роды — так новая дань. У некоторых идолов живот выдается, как у беременной женщины, у других, постарше, торчит.

В наше время власть колдуна, во всяком случае на первый взгляд, заметно ослабла. Цивилизация быстро выпалывает старые, языческие представления и связанные с ними обычаи. Ритуалы с человеческими жертвоприношениями и каннибализмом ушли в прошлое.

Но в глухих уголках, куда труднее добраться, колдун заправляет по-прежнему. Он может стать злым демоном деревни, воплощением темных сил, перед которым дрожат все жители.

Колдуна готовят к его роли с детства. Мальчика заточают в шалаш в лесу, где всякое общение с соплеменниками исключено. Он видится лишь со старым колдуном, который его обучает, ежедневно объясняет и показывает тайные ритуалы, заклинания и приемы черной

матчи, делится с ним опытом, накопленным за долгую жизнь.

Еду мальчику приносит женщина и просовывает в отверстие в стене. После годичного уединения он возвращается в деревню. Курс науки пройден, происходит торжественное посвящение в сан колдуна. Молодой колдун помогает учителю до его кончины, после чего занимает его место. Обладая неограниченной властью, к тому же часто психически ненормальный после долгого заточения, он вполне может отравить жизнь окружающим. И хотя теперь влияние колдуна сильно ограничено, пройдет, наверно, не один десяток лет, прежде чем он совсем утратит свою власть над душами.

На одной миссионерской станции жил чернокожий прихожанин, который давно перешел в христианскую веру и пользовался полным доверием миссионеров. Однажды он отпросился домой в родную деревню, где надо было решить спор о наследстве. И вернулся совсем другим человеком. У себя в деревне он повздорил из-за дележа наследства с колдуном, и тот завершил спор страшным проклятием:

— Ты умрешь. Я тебя съем.

Прежде живой и веселый, этот человек быстро превратился в собственную тень. Как будто на него наложил свою печать неумолимый рок, такое впечатление производил он на миссионера.

— Полно, мой друг, ты ведь больше не веришь в это. Колдун вовсе не всемогущ, все это сплошное суеверие и язычество. Ты же веришь в Христа.

— Да, я верю в Христа и все-таки знаю, что умру.

Физически он был совершенно здоров, и все же спасти его не удалось. Он утратил вкус к жизни, целыми днями сидел в полной апатии. Утром приходилось насильно поднимать его с постели, насильно кормить. Вскоре он скончался, но еще до того это был живой мертвец.

Что ни говори, колдуна окружает странный холод, этаким вакуум, к нему так, запросто не подступишься. В любой толпе он держится особняком, и с ним не очень-то охотно заговаривают.

Тем не менее у меня установились довольно хорошие отношения со многими колдунами.

Есть в этом краю и знахари рангом пониже, владель-

цы сильных талисманов — мешочков и узелков с освященными предметами — и прочих магических атрибутов. Они пользуются большой популярностью и ходят из деревни в деревню, исполняя роль сельских врачей. Бормочут заклинания, макают талисманы в куриную кровь и размахивают ими над изъязвленными ногами и больными животами. И берут изрядную мзду с пациента, независимо от того, помогло лекарство или нет. Если хотите, это целое привилегированное профессиональное сословие с приличным доходом. Но бродячие целители совсем не похожи на грозных, суровых колдунов, чаще всего это веселые и беспечные люди.

Деревня Макеле протянулась очень далеко. По обе стороны дороги жмутся друг к другу дома. Полуденный воздух недвижим, нещадно палит солнце.

Левой-правой, левой-правой — механически топчу клочок собственной тени. Какое наслаждение ступить под сень высаженных вдоль обочин масличных пальм! В деревне царит атмосфера мирного дневного отдыха. Несколько женщин, сидя перед домом, плетут квала — спальные циновки. По улице, задрав хвост, трусит белая дворняжка. Голые ребятишки, вооружившись проволочными обручами, играют в автомобиль; не иначе, здесь побывал на своем «лендровере» супрефект из Занаги. Между пальмами стоят сонные овцы. Мы садимся на огромное пальмовое бревно посреди деревни. Сбегаются куры, чуя поживу; коза принюхивается к нашим мутете — высоким плетеным корзинам, которые носят на голове.

Хочется пить. Я взмок от пота, устал, глотка пересохла. Ноги затекли, и кажется, мне уже никогда не встать. Нзиколи спрашивает ребятишек, не могут ли они раздобыть апельсинов или грейпфрутов.

Со всех сторон сходятся люди, волочат стулья, и я заставляю себя пересесть. Нзиколи уже беседует с мужчинами, я прошу его узнать, нельзя ли мне купить копыя, барабаны и идолов. Несколько человек срываются с места и бегут вдоль домов с криком: «Идолы, идолы!»

Двое мальчишек тащат большую корзину, полную огромных светло-желтых грейпфрутов. Как только сил хватило!

Мы набрасываемся на плоды, ставим между собой корзину, очищаем грейпфруты, разбираем дольки и высасываем сок. Он превосходно утоляет жажду. Сок капает с локтей, мякоть и косточки выплевываем на землю. С липким лицом и руками сосем и сосем, пока не начинает саднить во рту.

Овцы и козы напирают, проталкиваются между нами и наводят чистоту, будто ожившие пылесосы. Они миглом управляют с кожурой, и мы прогоняем их. Детишки образовали любопытствующий полукруг. Стоят нагишом, держа в руках обручи, и молча созерцают нас огромными круглыми глазами. Но скоро им надоедает глазеть, и они снова принимаются за игру.

В деревне сейчас мало взрослых, большинство работает в поле. То один, то другой подходит ко мне, предлагает что-нибудь для продажи. Меня больше всего занимают идола. Почти все они лишены магической силы, ямка на животе очищена от содержимого. Есть совсем черные от дыма и копоти, глаза — белые перламутровые пуговицы (уж не с рубах ли, полученных от миссионеров?).

Здесь люди не рискуют остаться совсем без культовых предметов. Идола продают только в том случае, если в запасе есть другой, не хуже, а то и лучше, и уж того, другого мне не покажут. Некоторые копья, особенно боевые, очень красивы. Длинные, старательно выкованные наконечники с богатым орнаментом остры, как шило. Копье для охоты на кабана похоже на гарпун. От наконечника до середины короткой и толстой рукоятки намотана толстая веревка. Когда зубцы застрянут в теле животного, рукоятку рывком отделяют от наконечника, она волочится на веревке и цепляется за кусты, мешая кабану бежать. Я покупаю несколько барабанов. У батэке барабаны пузатые и довольно короткие, не больше метра. Натянутая с одного конца кожа укреплена по краю твердыми деревянными гвоздиками.

Долго торгуемся. Одни запрашивают слишком много, другие — слишком мало. Стараюсь не обидеть ни тех, ни других. Мои носильщики укладывают покупки. Нзиколи в сторонке негромко разговаривает с невероятно тощим стариком, на котором сморщенная кожа висит сухими складками. Старик обернут в завязанное на плече грязно-желтое одеяло, сплетенная бороденка такого же цвета собрана в пучок. Он опирается на длинное копье.



Идол батеке с трещоткой и пальмовым вином в бутылке. Под набедренной повязкой из мешковины скрыта ямка на животе, в которой помещаются талисманы

— Мосье! — Нзиколи жестом приглашает меня подойти ближе. — Он хочет тебе что-то показать в своем доме.

Мы идем втроем к мазанке поодаль. У входа, разминая в деревянном корыте майяковое тесто, сидит старуха.

В доме очень темно, но постепенно глаз начинает различать предметы. Очаг и струйка дыма, закопченные камни, под потолком висит плоская корзинища, из которой торчат початки кукурузы и горлышки калебас.

Старик бредет в угол, нагибается, роется среди тряпок и калебас и достает грязный узел. Кричит что-то женщине, она испуганно забирает корыто и выходит. В свете, падающем через дверь, хозяин разворачивает узел, и я вижу большого двуглавого идола. Он покрыт толстой красной коркой, так усердно его оплевывали жеваным орехом кола...

Нзиколи пятится и бормочет:

— Тре мешан, тре мешан — отвратительно!

В тощих, узловатых руках старика идол лежит как в колыбели. В нем чудится таинственная сила.

— Неужели он согласен его продать?

Нзиколи кивает.

— Да, но здесь, в деревне, он не может тебе его отдать.

Когда мы выходим из Макеле, старик присоединяется к нам; идол спрятан у него под накидкой. Лишь через несколько километров он останавливается и достает его. Держа в руках перед собой, звонким голосом кричит заклинания. Потом выковыривает деревянную затычку сзади и дует в дырку. Нзиколи шепчет мне:

— Это он прогоняет духа. Оттого и шел с нами: чтобы дух не мог найти дорогу домой и отомстить ему.

...КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ

И вот мы с Нзиколи достигли восточной окраины области Занага, дальше за рекой Лали начинается Майяма. На смену плотному охристо-желтому латериту пришел мелкий, как пудра, белый песок. По скатам речных дюн тянулись космы жидкой темно-зеленой осоки, которые подводили к беспорядочно разбросанным по

песку свинцово-серым домам. Похоже на рыбачью деревушку.

Куда делось Конго? Где желтый воздух, зной, деревенские запахи? Эти пески типично шведские... Впрочем, в домах все было, как положено: расплывчатый полумрак, тараканы, дым, закопченные калebasы.

Вождь, который нас приютил, был человек добрый и миролюбивый, но какой-то бесхребетный. Вечно в огромном черном пиджаке, он все время ускользал от нас, будто тень. Жена его красотой не отличалась, но трудилась бесшумно и покорно. Она принесла нам курящийся паром вареный маниок в голубой эмалированной миске. Их дочь, красавица, взглянула на нас из-под опущенных век, полулежа в шезлонге, и протянула для приветствия пальцы с кровавым маникюром. Она побывала в Долизи и усвоила светские манеры.

В деревне за рекой продавалось пиво. Мы заказали несколько бутылок и получили в придачу тамошнего вождя. Он был большой начальник, заправлял целым районом, полусотней деревень вдоль Лали. Энергичный коротыш с колючими глазами, горластый, напористый, привыкший распоряжаться, он сам доставил нам пиво, по сто десять франков бутылка.

К маниоку нам подали хорошо посоленную и поперченную рыбу, сваренную в растительном масле. Мои носильщики заявили, что не пойдут в Майяму. Да и Нзиколи считал, что надо возвращаться, ведь Занага здесь кончается. Все мы основательно устали, а ноши были нешуточные: талисманы, идолы, оружие, барабаны и прочее, что я накупил в деревнях.

Но на меня вдруг нашла дурацкая, нелепая досада: как это так, меня лишают права решать, куда нам идти! Между воздушными корнями мангров медленно текла черная, вязкая река, по ту сторону круто обрывался в воду берег заманчивой ничьей земли...

— Ну хоть несколько деревень-то можно посмотреть. Только один дневной переход...

Нзиколи и носильщики молчали, недовольно глядя на меня.

— Тогда я завтра пойду один. А вы ждите здесь.

Ночь выдалась противная, невыносимо жаркая, с назойливыми комарами и шуршащими тараканами... Лишь под утро я задремал на часок. Проснулся с головной

болью, в отвратительном настроении. Нзиколи выглядел скверно. «Очень уж много комаров...» Да еще у него болела нога. Словом, все было не так.

— Ничего. Все равно пойдём! — Я чуть не кричал, стремясь заглушить голос своего рассудка.

Нзиколи был сама мрачность и несогласие.

За домом, около загона, где осока росла погуще, паслось несколько кзз. Из белого песка торчал могучий, как китовая туша, высоченный баобаб металлически-серого цвета, свесив крону над рекой.

Бревенчатый плот был связан лианами, напоминающими велосипедные шины. Как едва уловимые взглядом духи, над песком вились мухи цеце. Через реку была переброшена лиана; держась за нее, мы пересекли отливающие маслянистым блеском бурые водовороты и добрались до заболоченной кромки берега с прелыми листьями. На упавшем в воду бревне лежала мертвая ящерица, вокруг нее порхал рой больших белых бабочек.

На крутом береговом откосе ноги утопали в мелком белесом песке. Властного вождя с холерическим темпераментом и сердитым голосом звали Кроткий Нрав. Он нас немного проводил, но сперва мы зашли к нему. Дом был большой, громоздкий, темный, на прочерченных трещинами стенах висели старые, траченные молью гобелены из Северной Африки. От всего интерьера веяло плюшевой атмосферой конца прошлого века.

Вождь показал медали на зеленых лентах, полученные от президента Юлу. «Господину Кроткий Нрав, кантональному начальнику, уезд Майяма».

— Мосье, у вас, конечно, найдется для меня бутылка вина?

— Очень сожалею, но я не взял с собой вина. В другой раз, если сюда попаду, обязательно захвачу.

— Нет вина! Такое путешествие — и без вина. Как же так?

По деревне дорога стелилась широко, словно прошел паровой каток, но сразу за последними бананами она обрывалась. Дальше тянулась обычная узкая тропа. Мы шли, и шли, и шли, с бугра на бугор, с бугра на бугор. В длинной ложине впереди желтая нитка дороги подходила к деревне — серым крапинкам домов на темном фоне леса.

Мы вошли в ложину. Вдруг в воздухе что-то загу-

дело, как самолет, прошло зигзагом у нас над головой, описало круг. Пропало, снова загудело и шлепнулось в сухую шуршащую осоку. Другой жук того же вида катил по дорожной пыли черный мячик из павоза антилопы. Он шел задом наперед и толкал мячик задними ногами. Выбрав подходящее место, выкопал ямку, загнал мячик туда и засыпал его землей.

На очередном взгорке нам попались следы льва. Нзиколи показал мне львиную тропу — натопанную борозду в саванной траве.

Среди купленных мной идолов был один, которого мне приходилось всюду носить самому, мои товарищи не смели к нему даже прикоснуться. Жуткое изделие, от него буквально разило язычеством и злыми духами. На взгорке я поставил его на землю, прямо под открытым небом. Тряпка, которой он был обернут, порвалась и колыхалась на ветру, и содержимое живота грозило вывалиться.

Мы с Нзиколи шагали вдвоем. Носильщики, должно быть, застряли у Кроткого Нрава. На этой бесконечной тропе с ее однообразными буграми моя затея начала казаться бессмысленной, и на нас опять напала утренняя ипохондрия. Нзиколи умолк, он шел все медленнее, волоча ноги.

Я взял себя в руки, сосредоточился и попытался заставить нас обоих шагать быстрее. Главное — втянуться в ритм, а он уже все себе подчинит, как могучий, властный закон природы. Но энергии на настоящее усилие не хватало. Нзиколи плелся следом за мной, шаркая кедами и повесив руки на палку, которая лежала у него на плечах. Он брел сам по себе, не признавая меня, и словно дышал другим воздухом.

Я всю душу положил на то, чтобы заставить его идти быстрее. Но Нзиколи все больше отставал. И лицо его становилось все более недовольным.

— Нзиколи! Шагай быстрее, ползешь, как вошь. Только время теряем. Все на дорогу уйдет, ничего не успеем. Надо идти быстрее!

— Да, мосье.

На какое-то время Нзиколи как будто вернулся к действительности. Возможно, он даже велел своим ногам прибавить ходу и решил, что они подчинились, но тут же снова ушел в себя. Не иначе, думал о тканях и солнеч-

ной помаде, о ценах в Долизи и о том, сколько можно будет выжать из женщин в Занаге. Теперь он отставал от меня на несколько сот метров и напоминал сломанную пальмовую ветвь, которая вяло качается на ветру.

Небо голубое, чисто-голубое, чуть размытое, невесомое. Зной и дорога — серо-желтые, трава — сухая. Я знаю, что у Нзиколи один кед без подметки, совсем старый. Должно быть, ему неловко идти. Сам я, как представляю себя на его месте, сразу чувствую себя хромым. Ладно, сейчас не в обуви дело, главное — темп, престиж и упорство. Одинокий белый в дремучем лесу. На тебя глядит множество глаз — во всяком случае, ты этого заслужил. Подумать только: один в африканских дебрях...

Меня возмущает флегматичность Нзиколи. Куда это годится, он совсем отбился от рук. Хочется напугать его. Заставить его помучиться. Совсем немножко.

Это желание крепнет. А если я вдруг потеряюсь? Как он это воспримет? Во всяком случае, забеспокоится. От меня зависит продлить испытание ровно столько, сколько надо. Выйду, как только почувствую, что хватит прятаться.

Вот он, Нзиколи, далеко внизу, до смешного маленький. Медленно пересекает прямоугольник расчищенной дороги: белый, серый, опять белый песок. А теперь ступил на теряющуюся в высокой траве узкую, желтую, с розовым оттенком тропку. Отсюда его еле видно.

Я придумал достаточно изощренный план и предвкушаю его исполнение. Прибавляю шаг, чтобы увеличить просвет между нами. Дорога поднялась на пригорок, пошли рощицы баобаба и масличных пальм, какие-то кусты. Убедившись, что Нзиколи меня не видит, круто сворачиваю на боковую тропу. Высокая трава сразу смыкается за мной, видно от силы на метр-другой.

И мне вдруг становится страшно одиноко. После всех этих дней обоюдной зависимости и товарищества связи разом оборвались. Никто в целом мире не знает, где я нахожусь.

Слоновая трава схожа с осокой, только она суше, жестче, тоньше и цветом не желтая, а коричнево-рыжеватая. Коленчатый стебель почти мареновый. Метелки напоминают колоски. Тропа — высохшая глина с неровной клеткой трещин. Постоять здесь и посмотреть, как Нзи-

коли пройдет мимо? Нет, я слишком далеко забрался, трава высокая и густая, все заслоняет. Возвращаюсь на несколько шагов... Вот отсюда видно дорогу, здесь и встану.

Но при таком черепашьем ходе Нзиколи, наверно, появится нескоро. И у него ведь фантастическое зрение. Могу ли я хотя бы теоретически рассчитывать на то, что увижу его, а сам не буду обнаружен? Нет, все-таки стоит укрыться получше от глаз этого сына дебрей.

И я снова отхожу подальше от дороги. Тропа типично женская, для женщин с ношей на голове. Тут не ходил до меня ни один белый, уж это точно. Белому здесь просто нечего делать. Если мне вдруг встретится женщина, она тут и помрет от страха. Белый человек, да к тому же один! Колдовство! Привидение! Вопль, дикое бегство, корзина падает на землю, зеленые бананы, майяка, маленькие связки листьев рассыпаются по тропе...

Прикидываю, сколько придется ждать. Отойду на семьдесят пять двойных шагов и вернусь, за это время он должен миновать тропу. Унылое занятие — превратившись в хронометр, живой шагомер, механически бормотать: «...тридцать шесть правой, тридцать семь правой, тридцать восемь правой...» Счет в желтой траве — это звучит как название современного стихотворения: «Семьдесят три правой, семьдесят четыре правой, семьдесят пять правой». Готово, все, точка!

И что это я вообразил себя мучеником... Только себе хуже делаю. Тем не менее я заставляю себя не торопиться, возвращаясь к дороге. Наконец вижу ее. Прошел Нзиколи или не прошел? Выжидаю еще. Он должен был уже пройти. Как ни медленно он шел, но ведь и я прятался в траве достаточно долго.

А вот и доказательство. В дымчатой дорожной пыли виден ребристый отпечаток, как от рыбьих костей, — след его кеда. Иду по следу, примеряя свой шаг к коротким шагам Нзиколи. Теперь мы идем с одинаковой скоростью. Мысленно ставлю себя на его место, и мне даже чудится, что на левом ботинке нет подошвы. При таком ходе расстояние между нами должно оставаться неизменным.

След идет то по правой, то по левой стороне дороги. Посредине, где пыль снесена ветром, его не видно. Странно, как далеко он успел уйти... Местами я вижу на две-

сти-триста метров вперед, но Нзиколи нет. Нзиколи с его рваным кедом! Сверх того, на нем какие-то дурацкие до- модельные штаны и одна из моих рубаш. Даже своей рубашки у него не нашлось.

Теперь я иду чересчур быстро. Нарушаю собственный принцип, но я не могу оставаться в неизвестности, должен хоть мельком его увидеть. Наверно, за следующим поворотом опять будет видно далеко вперед. Что-то следы давно не попадают.

Но и после поворота я не вижу Нзиколи. Хотя впереди долина и дорога видна вплоть до следующего гребня. Ага, вот опять на обочине следы. Все-таки что-то. Он явно прибавил шагу, очевидно, забеспокоился, не видя ни меня, ни моих следов. Иду еще быстрее. Я не хочу потеряться, хочу догнать его и больше не отставать!

Считать до семидесяти пяти — так дети делают, когда играют в прятки. Я дурак набитый. Приходится шагать очень быстро, чтобы попадать в след Нзиколи, он почти бежал. У него ноги намного короче моих. Должно быть, он выбросил свою проклятую палку...

Отчетливо вижу путь на сотни метров вперед. И хоть бы точка мелькнула! В жизни не видел такой пустой дороги. А тут еще эта жарыща, этот сухой воздух. Дурацкая затея... Какой же я идиот!

Вбегаю в деревню. Кудахчут, разбегаясь, испуганные куры. Здесь хоть будет кого спросить. Но деревня как будто вымерла, я не вижу ни души. Бегу дальше, вверх на горку, вниз под горку... Пальмы равнодушно взирают на мое смятение и на мое раскаяние. Я исправлюсь, я буду хорошим, только бы увидеть опять Нзиколи.

Но в Конго, да еще в солнечный день, бегать через деревню, вверх на горку, вниз под горку — такое даром не проходит. Ноги стали будто чугунные, в глазах рябит. Я должен найти Нзиколи. Крутой подъем, дорога уходит в небо. Сквозь красные завесы и пляшущие черные пятна различаю крыши домов и человеческие фигуры.

Он ждет меня там — ну, конечно, Нзиколи там! Я совершенно уверен, что одна из этих голов на фоне неба принадлежит ему, и все-таки продолжаю бежать до самых домов.

— Нзиколи! Где Нзиколи? Его тут нет?

Чужие лица, многозначительный смех.

— Вон там! — говорит кто-то, показывая на широкий овраг, океан пустоты.

Тропа петляет среди бананов и кустов. Далеко внизу различаю движущуюся точку.

— Нзиколи-и-и! — Ору что есть мочи, сложив ладони рупором, но что такое мой крик в этом безбрежном пространстве.

Ладно, главное, я его увидел. Бегу сломя голову вниз по склону, ноги подкашиваются.

Должно быть, он меня заметил: точка стала намного больше. Нзиколи остановился. Он сидит у обочины и ждет. Лицо суровое — сплошные глаза.

— Мосье, я тоже мог потеряться.

Мне стыдно, и я прошу прощения.

Этого оказалось достаточно. Он стал прежним Нзиколи, и мы вместе — мне казалось, плечом к плечу — поднялись на гребень холма. И до чего легко у меня было на душе, несмотря на жутко крутой подъем и ватные ноги.

Когда мы наконец возвратились в деревню, где оставили машину, я был сыт по горло так называемыми дорогами Конго. Пройденный путь представлялся мне сплошной мукой. Еще раз пережить нечто подобное — ни за что! И однако я знал, что после одной ночи крепкого сна буду думать иначе.

Машина стояла в деревне, словно предмет культа. Причем было похоже, что ей и впрямь поклонялись. Ее обнесли заборчиком из обожженных дочерна дощечек, расписанных красными и белыми точками. Правда, вождь уверял, что это сделано для защиты от зверей, но мне что-то не верилось...

Меня явно принимали за белого знахаря. Люди шли ко мне со своими хворями, чтобы я их исцелил. Мои слова о том, что я не понимаю в болезнях, никого не убеждали. И чтобы не уронить себя в их глазах, я щедрой рукой раздавал хинин и аспирин.

Одна женщина принесла своего сынишку, у него зияла на ноге отвратительная язва.

— Мосье, он умрет, если оставить его без лечения.

Она смотрела на меня с мольбой. Ребенок был в

очень скверном состоянии, горячий от температуры, глаза совсем потухли.

— Нзиколи, освободи заднее сиденье. Отвезем мальчика в диспансер.

Но это оказалось не так просто, как я воображал. Тотчас среди родни нашлось четверо желающих ехать с нами. Я попытался им втолковать, что болен-то мальчик, только он нуждается в лечении, а машина маленькая и у нас много багажа. В лучшем случае найдется место для матери. После многочасовых переговоров они наконец уступили. Все равно им нечего было делать на миссионерской станции, просто захотелось прокатиться.

Мы тщательно уложили наши вещи, чтобы не разбить ничего на ухабах. Женщина села в машину, взяла малыша на руки, и мы попрощались с жителями деревни. Затопленный участок почти высох, к тому же в самых коварных местах были настелены жерди и ветки.

В машине царилла нестерпимая жара. Зловоние от язвы на ноге мальчика то и дело вынуждало меня высывать голову в окошко. В деревнях нас окликали, махали руками, просили подвезти: «Возьмите меня с собой!»

Поздно вечером, запаренный, с онемевшей шеей, дико грязный, я подъехал к диспансеру. Малыш спал. Мать спала. Нзиколи спал. Я разбудил чернокожего санитаря. Он принял наших пассажиров, и мы с Нзиколи покатали в ночи дальше, в Умвуни.

СНЫ В МБУТУ

Я просыпаюсь от того, что паружная дверь скребет по глиняному полу. В соседней комнате начинает греметь посуда. Чувствую влажное дыхание тоскливого серого рассвета. Рань безбожная. Эмалированный таз на полу — грязно-серый. Одежда лежит там, куда я ее швырнул, на пустой коробке из-под мыла.

Потолок черный, висят рваные пряди паутины.

— Нзиколи!

— Да.

— Мботе, са ва!

— Да.

Спальный мешок — хранилище чудесного тепла. Неохотно выбираюсь из него, сую ноги в холодные как лед сандалии, бреду на улицу.

— Хорошо поспал, Нзиколи?

— Да.

Земля окутана туманом. Над ним серыми силуэтами торчат крыши и макушки деревьев. С бананов падают капли влаги. Цвет толстых стеблей — от желто-зеленого до черной сепии, они поблескивают, как китайский лак. Обвисшие листья поседали от росы, старая прель чмокает и чавкает. Мне вябко от утренней свежести. Нзиколи подает в стаканах бодрящий кофе. Сидим за столом друг против друга. Нзиколи кладет себе двенадцать кусков сахара. Расеянно помешиваем кофе и без слов выпиваем его. Настроение не ахти какое, мы еще не проснулись как следует, говорить не хочется.

Но надо готовить машину и багаж для нового маршрута. Вынимаем заднее сиденье, укладываем грозди бананов, спальный мешок, копченых обезьян. У Ндото огромный узел, который занимает почти весь багажник. Из узла торчат зеленые бананы и ручка от кастрюли. Сверху она кладет двух белых кур со связанными ногами. Захлопываю крышку багажника и привязываю ее к бамперу куском ротанга. Замок сломался. К счастью, Ндото ехать всего-то до Боялы, километров пятнадцать. Ей надо кое-что закупить в магазине португальца и навестить свою родню.

Протираю ветровое стекло, сажусь за руль и поворачиваю ключ стартера. Мотор чихает несколько раз, но подчиняется. Нзиколи разгоняет столпившихся за машиной кур, и я лихо задним ходом выезжаю на дорогу. Ничего, как-нибудь одолеем утреннюю хандру!

Деревня просыпается, вокруг машины уже ватага голых ребятишек. Кожа в пупырышках, стучат зубами от холода, ноги сдвинуты, руками обхватили себя за плечи. Нзиколи наконец ожил, командует, распоряжается, жестикулирует. Ндото, подобрав подол, втискивается между узлами и корзинами. Находится место и для Кинтагги, надевшего для такого случая белую рубашу. Нзиколи с видом инспектора обходит вокруг машины, захлопывает дверцы и садится впереди, рядом со мной.

— Нсила мове — прощайте, остающиеся!

Прощальный жест рукой, машина срывается с места багаж подается назад, куры отчаянно кудахчут.

— О ревуар! До свидания! — кричат ребяташки, не жалея голоса.

Когда Ндото выходит в Бояле и забирает свой здоровенный узел, корзины и кур, сразу делается просторнее. Кинтагги устраивается со всеми удобствами. Сворачиваем на караванную дорогу в сторону Кимбуту. Она совсем заросла, в высокой траве не видно и намека на колею, и я еду, что называется, ощупью. Нзиколи помогает мне:

— Чуть влево, чуть вправо. Вот так.

Пропитанные росой метелки хлещут по ветровому стеклу, и я включаю «дворники». В траве коварно прячутся скользкие мостки из бревен, приходится выходить и проверять, как они лежат. Дальше деревни Сиессе нет проезжей дороги.

На изрытом широком откосе перед деревней переключаю скорость, въезжаю на деревенскую площадь и останавливаюсь. Жарко, кузов горячий, как утюг. Мы разгружаем машину и укладываем в мутете, которую понесет Кинтагги, самое необходимое: три-четыре рубашки, продуктов на несколько дней, пару сменной обуви. Опыт научил меня, что полезно время от времени менять обувь, чтобы не терла в одних и тех же местах.

Беседуем с вождем, толстым коротышом, который словно врос в свой шезлонг под навесом. Он обещает присмотреть за машиной. Да Нзиколи для верности еще повесит талисманы на дверных ручках. Ставлю машину в тень под большим апельсиновым деревом. Кинтагги делает из тряпки круглый жгут и кладет себе на голову, чтобы удобнее было нести корзину. Нзиколи тоже прищипывает свой узел на голове. Сначала покачивается, ловя равновесие, наконец опускает руки вниз и трогается с места.

Тропа вела через поляну к лесистому оврагу. Полуденный зной выжег все краски и насытил воздух маревом. Поминутно из-под ног, издав короткий треск, выпрыгивали кузнечики. Земля кругом была бесплодная — серо-желтый песок с жиденькой бурой травой, по которой недавно прошел огонь. Жесткие стебли выстояли и торчали опаленной стерней.

Я с трудом различал тропу. С каждым шагом взле-

тали облачка золы и пепла. Попадались одиночные кряжистые деревца с законченными стволами, кожистыми листьями и большими, с грецкий орех, косточковыми плодами.

Настроение — пока — у всех было хорошее. Нзиколи насвистывал и пританцовывал на ходу. Эх, славно опять быть в пути... К тому же я предвкушал встречи с новым краем, с деревнями, про которые мне столько рассказывал Нзиколи. Особенно занимала меня Кимбуту — застава, учрежденная лет тридцать-сорок назад. Насколько я знал, ни один белый не заходил дальше этой заставы.

Кинтагги шел следом за мной тихо, как привидение. От конца поляны в овраг круто опускались уступы, похожие на ступени. Со всех сторон нас окружала зелень — шуршащая листва и вьющиеся лианы. На дне оврага среди огромных поваленных стволов неторопливо журчал разлившийся ручей. Деревья срубили, намечая продолжение автомобильной дороги. Мы шли по прохладной воде между стволами, и пальцы ног утопали в мелком белом песке. Несколько женщин полоскали белье, наклонившись над ручьем. Я диву давался, как это привязанные у них на спине спящие малютки не свалятся в воду. Кинтагги и Нзиколи окликнули мамаш, они отозвались, весело смеясь. Голоса гулко отдавались между деревьями.

За оврагом начиналась следующая деревушка. У меня промокла от пота рубашка, сердце дико колотилось. Нзиколи и Кинтагги отстали, замешкались у ручья, разговаривая с женщинами.

На сампе сидел в одиночестве дремлющий старик. Наклонившись, я шагнул под низкий навес и устроился на свободном шезлонге напротив него. Мы оба молчали, старик где-то витал, время замерло. Я начал нервничать.

— Мботе! — крикнул я.

Мое приветствие прозвучало, как вызов. Но уж очень солнце пекло. И меня одолевал зуд деятельности. И так как я не знал языка, мне для выражения своих чувств оставалась только интонация, способ произношения «мботе». Старик посмотрел на меня, но ничего не ответил. Весь его облик выражал беспредельный мир и покой. Он наклонился в сторону, порылся в мешочке, медленно извлек из него плод манго. Молча протянул его



Возвращение с рынка

мне. И я сразу опомнился. Взял плод, сказал «нтоделе бени» («большое спасибо») и начал снимать кожуру. Плод был сочнееший и замечательно утолял жажду. Но я не мог забыть своего нелюбезного «мботе», оно продолжало звучать в моих ушах. Мой поступок был достоин какого-нибудь брюзгливого коммивояжера.

Мы пошли дальше по однообразной лесной тропе. От деревни до деревни было далеко, и в конце концов мне стало тошно от сплошного засилья зелени. Я остано-

вился, выбрал в слитной зеленой массе один листок и внимательно проследил взглядом за его контурами. Почему-то на ум пришло сравнение с лотереей, где главный выигрыш заключается в том, чтобы стать единственным предметом внимания. Именно этот листок, номер один миллиард восемьдесят три... Мне вдруг стало не по себе, и я отвел глаза в сторону.

Мы быстро втянулись в ходьбу и шагали уже механически. Иногда наш ритм нарушали пересекающие дорогу бродячие муравьи. Ровный поток рабочих муравьев, с обеих сторон — колонны солдат. Завидев нас, они поднимались на задних ногах и задирали вверх свои челюсти-клещи. На полной света и воздуха поляне тропа пропала в пышной, густой траве. Нзиколи, опередивший меня метров на пятнадцать, вдруг запрыгал, потом пустился бежать.

— Атенсьон! Фурмис! Атенсьон! * — кричал он.

Строй муравьев нарушился, они растерянно заматались. Я рванулся и бегом пересек опасный участок, Кинтагги последовал за мной длинными скачками, будто антилопа, даже не придерживая руками балансирующую на голове мутете. Мы с ним отделались благополучно, а Нзиколи пришлось сбросить штаны. Он вытряхнул их, потом принялся отдирать муравьев, которые впились ему в ноги. Рабочие сразу отставали, с солдатами было хуже, их приходилось отрывать буквально с мясом.

Следующая деревня на нашем пути поразила нас своей опрятностью. На гладко подметенной площади ни сучка, ни листика, даже страшно ступить. Дома аккуратные, чистенькие, будто кукольные. Я проникся торжественным настроением и стыдился своей щетины. В тени от крыши самого большого дома сидели люди, а между ними, на циновке из пальмовых листьев, лежал кто-то, накрытый желтым одеялом.

Сидящие вяло ответили на наше приветствие, не поднимая головы. Нзиколи объяснил, что мы хотим только передохнуть немного и закусить. Какой-то парень вынес стулья.

— Этот человек болен, что ли?

Они кивнули.

— Очень болен?

* — Внимание! Муравьи! Внимание! (франц.).

— Да. У него живот болит.

— Давно болеет?

— Девять дней.

— А кто он?

— Брат вождя. Каждый день просит вынести его на воздух, чтобы видеть небо и деревья.

Больной застонал. Полузакрытые глаза его глядели вяло и безучастно. Мы ели в тягостном молчании.

За последним домом деревни, на отшибе, жил дурачок. Он стоял, навалившись грудью на ограду, и буравил нас диковатыми черными глазами. Как будто мы для него были непонятными животными из зверинца. Я долго чувствовал спиной взгляд этих антрацитовых глаз.

В Ёми среди деревни стояла сельская школа, учрежденная католиками, их крайний форпост в этом краю. Это был попросту большой побуревший травяной навес, опирающийся на тонкие жерди. Словно усталая ночная бабочка с поникшими крылышками... Издали можно было различить ряды черных голов; кто-то монотонно читал по складам.

Я вошел под навес. Меня давно заметили, и теперь все вскочили на ноги и дружно отчеканили: «Бон-жур, мосье!». Чернокожий наставник жестом посадил детей и пошел мне навстречу. Вид у него был слегка испуганный и растерянный. Уж не инспектор ли прислан миссией?.. Я поспешил объяснить, что направляюсь в Мбуту, а сюда заглянул из любопытства. Учитель облегченно вздохнул и возвратился к шаткому столику. Последовало оглушительное: «О-ре-вуар, мосье!» — и урок возобновился, а мы пошли искать вождя. Голос приободрившегося наставника разносился по всей деревне.

Вдруг у меня отчаянно зачесались ноги. Я поднял штанины и увидел на ногах черные точки. Блохи! Я забежал за ближайший куст, сдернул штаны и учинил жестокую расправу. И зачем только меня потянуло в эту школу...

Вождь рассказал, что белые появляются в деревне раз или два в год, причем это всегда представители миссионерской станции. Из-за углов выглядывали любопытные рожицы робких детишек. Убедившись, что опасаться нечего, они один за другим нерешительно приблизились. Чтобы не пугать малышей, прятавшихся за подо-

лы и накидки взрослых, с которыми мы беседовали, я старался не смотреть вниз, но все же заметил, что их становится все больше. Будто замороженная, на меня глядела огромными, как блюдечки, глазами девчушка ростом мне по колено. Этакая крохотная Ева, голенькая, на шее подвешен на слоновом волосе леопардовый зуб. Животик круглый, блестящий. Я не устоял и поднял ее на руки. В первый миг она не поняла, что происходит, но тут же глаза ее наполнились слезами, она завизжала, вся напряглась, выскользнула из моих рук и исчезла между двумя стариками. Остальные ребята тоже с визгом разбежались.

Нам надо было до темноты поспеть в Мбуту, и мы не стали задерживаться в Еми. В лесу было как в теневой оранжерее, пахло влагой и прелью. В сумеречном свете мы долго разглядывали причудливое сплетение лиан. Гротескная фигура неопределенной формы, четырех-пяти метров в поперечнике — то ли заворот кишок, то ли руки сцепившихся борцов, — несомненно вызвала бы сенсацию в музее современного искусства. Там, где в глине вырубили ступеньки, их размыло дождем. Мы спускались в овраг, как по сломанной лестнице, а к этому мои икры были вовсе не приспособлены. У меня разболелись мышцы, ноги подкашивались. А Нзиколи и Кинтагги шли как ни в чем не бывало, особенно Кинтагги. Казалось, для него не существует ни ям, ни ухабов, он не шел, а порхал, и корзина на его голове спокойно плыла по воздуху. Меня мутило при одной мысли о какой-либо ноше.

Местами деревья расступались, и мы видели заброшенные деревни — развалившиеся дома, куски глинобитных стен, торчащие черные палки — все, что осталось от крыш. Начался долгий утомительный подъем. Здесь караванная дорога представляла собой широкую полосу перекопанной земли, и я увидел мысленным взором роскошную автостраду с двусторонним движением.

На каждом шагу ноги цеплялись за торчащие из песка жесткие, острые прутья — остаток кустарника, который срубили длинными ножами. Солнце раскаленным железом обжигало спину. Рыхлый песок разъезжался под ногами. Мы шагали молча, каждому хватало своих забот. Две птицы-носорог с завидной легкостью выписали кривую в воздухе над нами. Взмыли вверх, пере-

шли на парение, опустились, снова взмыли вверх... парят... опустились...

Вдруг я услышал голос Нзиколи. Нехотя остановился и обернулся. Нзиколи сидел, наклонившись, на поваленном стволе и судорожно сжимал руками одну ногу. Я подошел к нему. Из ранки в большом пальце обильно сочилась темная кровь. Нзиколи показал на острый, как нож, косой пеньек, на который он наступил. Рана выглядела скверно — мясо распорото до кости, ноготь перекошен. Ужасно, мы даже оторопели. Первым взял себя в руки сам Нзиколи. Он перевел взгляд на меня и сказал:

— Дай нож!

У меня висел на поясе большой охотничий нож. Я машинально взялся за рукоятку, но вдруг сообразил, что задумал Нзиколи. Он хочет отрезать палец!

— Нет, нет, ни за что!

Я быстро развязал узел, который нес Нзиколи. Там у меня вместе с мылом и зубной щеткой лежала лечебная мазь. Собственно, она предназначалась для мелких ссадин и царапин, но написанные через весь тюбик большими буквами слова «Лечебная мазь» внушали доверие. Я случайно захватил ее с собой, она попалась мне на глаза, когда я собирался, как же ее было не взять.

Я оторвал лоскут от своей рубахи, выдавил на искалеченный палец полтюбика мази, уложил ноготь на место и сделал тугую перевязку. Получилось не очень красиво, но Нзиколи был вполне доволен. Встал, сделал, опираясь на пятку, несколько шагов и кивнул.

— Са ва. Пошли дальше.

Деревня Мбуту встретила нас погодой, типичной для дождевого сезона: оранжевая влажность и духота, запах плесени и дыма. Беспорядочно стояли масляные пальмы — стволы цвета копоти и сочная зелень, удивительно яркая в лучах заходящего солнца. Над рядами крыш прозрачными легкими прядями висел голубой дым. Звуки были мягкие, приглушенные, словно деревню целиком накрыли влажным войлоком.

Хозяин отведенного нам дома небольшого роста с быстрыми, беличьими глазками. Он не ходит, а семенит, хлопая штанинами коротких серых брюк. Это состоя-

тельный человек, у него большой дом и четыре жены. Одна из них вручает мне в качестве матабис приветственного дара — три яйца. Нзиколи раздобыл калебасу пальмового вина, и мы пьем поочередно из четырех имеющихся в доме стаканов. Но что такое одна калебаса на четырнадцать важных персон, включая вождя и старейших! И Нзиколи отправляется в деревню за второй. Наконец все нас поприветствовали, вино выпито и встречающие удаляются.

Кинтагги озабочен ужином и выходит на кухню к женщинам. Дверь приоткрыта, мне видно, как они, сидя вокруг очага, помешивают в горшках. Нзиколи берет лампу, чтобы показать мне, где я буду спать. Мы проходим через кухню. Вкусно пахнет вареным мясом.

— Что они готовят?

Нзиколи спрашивает женщин.

— Кабана. Хозяин забил одного сегодня утром.

— Как ты думаешь, мы сможем у них купить немного?

Нзиколи переводит мой вопрос.

— Конечно, нам дадут и маниок и мясо.

Спальня в следующей комнате. Нзиколи поднимает циновку, которой завешен вход. Большое квадратное помещение, стены и пол обмазаны серой глиной. Темно, мрачно, окон нет, с почерневшего потолка свисают паутина и копоть. Воздух затхлый, как обычно в деревенских домах. У одной стены стоит широкая кровать. Правда, она очень уж коротка, зато есть матрац и сетка от комаров. Роль матраца играют накрытые черным одеялом сухие банановые листья. Сетка подвешена на четырех угловых столбиках.

— Тре бьен, Нзиколи, тре бьен! Здесь я буду спать лучше, чем когда-либо спал в Европе. А ты-то где ляжешь?

— Мы с Кинтагги устроимся в соседнем доме.

— А сетки от комаров вам тоже дадут? Кстати, здесь что, много комарья?

— Нет, совсем немного.

— Тогда к чему сетки?

— Не знаю. Хозяева говорят, что здесь почти нет комаров.

Пожелав Нзиколи спокойной ночи, опускаю сетку. Судя по тому, сколько пыли с нее сыплется, она явно по-

вешена для красоты или же олицетворяет достаток. Обыкновенный кусок хлопчатобумажной ткани, спать под таким пологом, наверно, очень душно.

Как сладко вытянуться на кровати... Ложусь наискось, чтобы ноги уместились. И сразу перестаю их чувствовать, словно отменили закон тяготения. Листья под одеялом похрустывают, и, хотя лежать жестковато, тут и там какие-то бугорки, я предпочитаю не шевелиться. С чувством блаженной сонливости вяло осматриваю комнату. В свете керосиновой лампы различаю в углу стол, на котором сложены вещи хозяев, драная по преимуществу одежда из травяной материи и хаки. В тени под свисающими со стола черными штанинами видны кукурузные початки, железные банки, горлышки калебас.

Над столом висят на бельевой веревке нарядные пестрые одеяния мадам и белая рубашка мосье. Полумрак, бархатно черные тени, теплые коричневые и серые тона. Рассеянно скольжу взглядом по хитросплетению форм. Веки все тяжелее и тяжелее... За стеной гудят женские голоса, иногда слышен голос Кинтагги. Кто-то поет, кто-то смеется. А я уже в трамвае, который идет на Лидингэ. Передо мной стоит кондуктор, я должен уплатить за проезд. Ищу в карманах. Денег нет. Снова ищу. Пусто, во всех карманах пусто. Весь вагон глядит на меня, и я обливаюсь холодным потом. Как же быть? Опять лезу в карманы, хотя знаю, что в них ничего нет. Пусто, как в пустыне. Лица кругом презрительно улыбаются, кондуктор ждет с протянутой рукой. Башмаки ниже черных штанин стоят в лужице талой воды с песком. На полу что-то лежит, что-то с длинными колышавшимися усиками.

На утрамбованном, почти черном земляном полу таракан. У меня на глазах выступают слезы от радости, что я по-прежнему в Конго. Что я по-прежнему в Мбуту и вижу таракана. Наверно, обед уже готов. Я встаю и выхожу. Женщины поднимают головы, Кинтагги как раз накладывает в железную миску вареного мяса.

За столом в первой комнате сидят Нзиколи и несколько стариков. Положив перед собой мой блокнот, Нзиколи что-то пишет в нем моей авторучкой. У него чрезвычайно сосредоточенный вид, и все смотрят на него с великим почтением. Внезапно Нзиколи замечает меня, и, хотя у него черная кожа, я чувствую, как он

краснеет. Он не умеет ни читать, ни писать и отлично знает, что мне это известно. Всем своим лицом он молит меня не выдавать его.

— Чем ты занят, Нзиколи?

— Гм. Пишу письмо.

— Кому?

— Коменданту заставы.

— А, это хорошо. Передай ему привет от меня.

— Ладно.

Растерянность сменяется облегчением. Остальные почтительно смотрят, как он заканчивает письмо.

Прошу показать его мне. Нзиколи нехотя протягивает мне блокнот и говорит:

— У меня плохо получается без очков.

Вспоминаю, как мы потеряли целый день, тщетно разыскивая на Майямской дороге очки Нзиколи. Но письмо поразительное! Весь лист исписан мелким почерком, ни одной настоящей буквы, ни одного знака со смыслом — и тем не менее это именно письмо, олицетворение всех писем, на редкость выразительное и удивительно прекрасное, во всяком случае, таким оно мне кажется в эту минуту. Внимательно прочитываю его, в этих линиях — сам Нзиколи. Да, каждый грезит по-своему в Мбуту...

— Отлично, Нзиколи, очень хорошо написано. Завтра и отправим с кем-нибудь.

Сразу заметно, что Нзиколи благодаря письму сильно вырос в глазах стариков. Никто из местных не учился в школе, здесь даже писаря нет, и теперь старейшины смотрят на Нзиколи с почтением, он как бы стал ровень с ними.

Кинтагги подает ужин. Впервые за все путешествие я ем маниок с удовольствием. Кислый, чуть терпкий вкус, он мне всегда что-то напоминает — но что? Сейчас, в сочетании с мясом, он мне кажется чудесным. Мы макаем маниок в мясной навар, где перцу столько, что у меня лоб покрывается испариной. Я, конечно, объедаюсь, и меня неодолимо клонит ко сну. С великим трудом поддерживаю разговор, мечтая о том, чтобы меня отнесли в кровать. По моей просьбе Нзиколи обращается к стоящим в дверях женщинам и хвалит еду. Они явно довольны.

Вдруг вижу на стене перед собой медленно ползу-

щую тысяченожку, рыжую, из ядовитых. С криком показываю на нее. Все оборачиваются, Нзиколи хватается свой кед и хлопает им по стене. Но то ли он промахнулся, то ли кед тот, который остался без подметки, — во всяком случае, тысяченожка остается цела и бежит по стене вниз. Шум, гомон, женщины кричат, вбегают в комнату с поленьями в руках, стол отодвигают, стулья опрокидывают.

Многоногая тварь бежит по полу зигзагами. Кто-то роняет калсбасу, она разбивается, вино течет, тысяченожка застревает в нем, и здесь ее настигает смерть. Все возбуждены охотой, женщины подняли свои подола выше колен, Кинтагги стоит на столе — он спас от гибели керосиновую лампу.

Конец охоты застает всех в самых причудливых позах, и звучит оглушительный хохот. Постепенно возбуждение проходит, и снова кругом глухие тени да тихая речь. Говорю хозяевам «спокойной ночи». Все идут на улицу, где горит костер. Я могу продолжать смотреть сны в Мбуту...

КОГДА К ЧЕЛОВЕКУ ПРИШЛА СМЕРТЬ

Мы купаемся в спокойной речушке с песочно-желтой водой, отбиваясь от коварных мух цеце. Ветра нет, жарища страшная. Пользуюсь случаем постирать. Течение подхватывает красный носок, и он уплывает в заросли. Мостом служит срубленное дерево, огромная зонтичная акация. Мы переходим по ней на другую сторону. Воздух неподвижен. Нзиколи глядит на небо.

— Будет дождь. Может быть, мы еще успеем до тех пор дойти до Кинтали.

А ведь не видно ни облачка, только горячий белый воздух. Купание освежило ненадолго, я уже весь в поту. Нзиколи озабочен, поторапливает меня. Вдруг в считанные минуты делается совсем темно. Я едва различаю тропу в лесной чаще.

— До деревни осталось немного.

Нзиколи начинает бежать — это с его-то пальцем! Кинтагги скользит следом, будто тень; я едва успе-

ваю за ними, тяжело дыша. Короткий треск, и прямо в ухо врывается гром. Сердце уходит в пятки — только бы выбраться живым из леса! Здесь, среди высоченных деревьев, рано или поздно молния непременно угодит в нас... Слышен гул надвигающегося дождя.

В овражке с крутыми скользкими склонами лес обрывается, и тропа ныряет в высокую траву. Подъем венчается гребнем, который отливает странной желтизной на фоне свинцово-черного неба. Вижу контуры крыш. Могучий порыв ветра едва не повергает меня на землю, молнии сверкают без промежутка, оглушительными залпами раскатывается гром. Нас окружают белое пламя, рокочущий воздух и потоки воды. Оглушенные, чуть не захлебнувшись, вбегаем в деревню и ищем укрытия под навесом сампы, где уже жмутся друг к другу дрожащие козы и овцы. Ливень могучей тяжестью прокатывается по деревне, сбивая воду в белую пену, нас со всех сторон обдаёт мелкими брызгами. Молнии освещают наклоненные горизонтально стволы пальм. Мокрая одежда кажется ледяной. Кинтагги, стуча зубами, бежит к ближайшему дому. Мы с Нзиколи ждем. Лучше не врываться всем сразу.

В такую погоду никто не ждет гостей, тем более белого гостя. Но вот Кинтагги выглядывает из двери и жестом зовет нас. На скамеечках перед очагом сидят две женщины и несколько детишек. Хозяин, встав, здоровается с нами за руку. Дети поджаривают земляные орехи в глиняных мисочках. Самый маленький лежит у матери на коленях, завернутый в ее подол, только голая ножка торчит. Лачуга скрипит и вздыхает под ударами шквалов, но до чего же хорошо быть в тепле, у живого огня, и как вкусно пахнет орехами.

Выжимаем мокрую одежду и развешиваем ее на веревке. Получив от женщин покрывала, рассаживаемся вокруг очага. Буря быстро уходит дальше, гром звучит глуше, ветер ослабеваает. Только дождь все гудит, клещет по крыше.

Первые минуты дети испуганно таращат на меня глаза и даже забывают про свои орехи. Нзиколи пытается наладить беседу, но дело идет туго, хозяин и обе хозяйки лишь кивают или отвечают односложно. На Кинтагги и Нзиколи здесь тоже поглядывают с некоторой опаской. Они ведь бакуту, чужие среди батеке.

Однако мало-помалу атмосфера разряжается, завязывается разговор. Ко мне пододвигают зеленый лист с только что поджаренными земляными орехами. Они обжигают пальцы, скорлупа хрустит и рассыпается.

Дождь прекратился. Осторожно делаю зарисовки в своем блокноте; к счастью, он не намок. Над деревней изогнулась изумительная двойная радуга, воздух как стеклышко, небо голубое. От непогоды осталось лишь грозное темное облако вдалеке. Влага придает всем краскам деревни — черной копоти, желтой, коричневой, ярко-зеленой — особую глубину.

Тропа скользкая, будто мыло; одежду можно было и не просушивать, брюки через две минуты опять мокрые. Зато как свежо и прохладно и как здесь вольно дышится после леса. Видно на десятки километров, вдали голубеют горные склоны... В оврагах и лощинах тут и там стоят в кружок деревья. Нзиколи останавливается и, сложив губы трубочкой, показывает ими:

— Видишь банановую плантацию куна-а-а-а-а-а, вон там?

Куна — растяжимое слово, которым обозначают расстояние. Если я потерял какую-то вещь и спрашиваю, куда она подевалась, Нзиколи может коротко ответить «куна» и показать на метр-два в сторону, где лежит искомое. Если речь идет о двухстах метрах, он скажет «куна-а-а-а», а очень большое расстояние будет «куна-а-а-а-а-а-а».

В Кимбуту дул голубой ветер.

На высоком открытом бугре дорога пересекла банановую плантацию, которая шуршала и хлопала на ветру разлапистыми листьями. Потом мы ступили под увешанные плодами мандариновые деревья и дошли до площади. Над деревней раскинулось огромное небо. Как обычно, нас обступили любопытные. Мы сели отдохнуть под навесом сампы. Вождь, высохший древний старец, сидел, завернувшись в покрывало из травяной материи. Впереди оно распахнулось, и были видны нарисованные на животе поперечные желтые полосы — знак того, что он еще и колдун. Вождь держался особняком и неохотно вступал в разговор.

Один из местных охотников пригласил нас переноче-



Идол батеке. Глаза — пуговицы, возможно, полученные от миссионеров

нать в своем доме. В открытой двери колыхался полог из цветного муслина. Чистая, аккуратная комната была обставлена мебелью европейского стиля, но очень маленьких размеров, словно из кукольного дома. Охотник рассказал, что ее смастерил деревенский столяр по картинкам из журналов и словесным описаниям. Я осторожно сел на стульчик, спинка и сиденье которого были сплетены из ротанга. Он был чуть выше нашей скамеечки для ног, но вполне устойчив.

На стенах висели циновки, расписанные черными зигзагами, а поверх циновок были развешаны картинки из французских журналов, повествующие о подвигах Фантомаса и похождениях двух пострелов. Кроме того, жилище охотника украшали рога буйволов и антилоп, а также два идола с коркой засохшей крови. И наконец, фотография хозяина с одной из жен, снятая во время поездки в Долизи. Жена сидела очень прямо на стуле, охотник стоял рядом, положив ей руку на плечо, и оба глядели перед собой стеклянными глазами.

Нзиколи зашел ко мне в комнату рано утром. Сквозь дрему я слышал, как он ищет банку с кофе. Выходя, он не закрыл дверь, только опустил полог, и когда я наконец стряхнул с себя сон, то первым делом увидел на стене перед своим носом большущего таракана, который помахивал длинными усиками. Я осторожно опустил руку вниз, нашарил сандалию, поднял ее и уже приготовился поразить мишень, но тут моя рука застыла в воздухе.

С тараканом происходило что-то странное. Или мне это чудится из-за того, что я смотрю на него с такого близкого расстояния? Он был большой, сантиметров пяти, старый и какой-то серый. И вот у меня на глазах он начал вытягиваться в длину... Таракан в прямом смысле слова лез из шкуры вон. Невыразимо медленно, миллиметр за миллиметром, из старой серой шкурки выползало белое как снег новое тело. И сандалия вернулась на место: не мог же я прервать такой удивительный акт творения! Белое тело постепенно стало розовым, потом, продолжая темнеть, коричневым. Я потихоньку встал и, не спуская глаз с таракана, оделся. Когда Нзиколи принес кофе, на стене уже сидела пряткая коричневая с рыжим отливом тварь из тех, которых практически невозможно пристукнуть. Я показал на нее, и у

Нзиколи в глазах вспыхнул кровожадный огонек. Он взял толстый журнал, одолженный мною у миссионеров, сложил его пополам и хлопнул по стене. Бам! Мимо. Таракан исчез под одной из жердей в потолке. Но Нзиколи все-таки понал — по старой пустой шкурке.

Охотник взял с нас за ночлег сто франков (две кроны); сюда вошла стоимость пяти яиц.

Дальше мы направились по дороге, ведущей в Низо-мо в области Майяма, и через два-три часа снова увидели пограничную реку Лали. Но здесь переправа была совсем иная, чем в деревне, где заправлял Кроткий Нрав. Река прорыла себе глубокое русло, и получился каньон, через который был переброшен хлипкий мост из лиан. Прямо в воду спускались воздушные корни.

Мост состоял как бы из двух огромных гамаков, которые встречались на могучем стволе, прочно застрявшем на песчаной отмели посреди реки. Верхом на сучьях сидели ребяташки и ловили рыбу. Тонкорукие, тонконогие, они сами были похожи на ветки. Клев был хороший, то и дело голые рыболовы выдергивали из коричневого потока блестящих рыбешек.

На майямском берегу, прислонив к мостовым растяжкам длинные корзины, отдыхали путники. Мужчины, женщины, дети — похоже было, что многочисленное семейство целиком отправилось в путешествие. Одни купались, другие стирали, третьи, сидя на корточках, ели маниок. Под лиственным пологом гулко звучали крики и смех, голубовато-зеленый сумрак пронизывали веселые лучи солнца. Из воды, словно волнорезы, торчали черные сучья, за которые цеплялись длинные, колышущиеся пряди травы. Тропа продолжала свой путь через лес, влажная, скользкая, с подстилкой из мокрых листьев. Вдруг, без всякого предупреждения, перед нами открылась саванна с ее ослепительным светом.

По словам Нзиколи, до меня в этих местах не бывал еще ни один белый. Я почувствовал себя как бы избранником. Сбылась мечта далекого детства... На миг мне показалось, будто я иду в воскресную школу. И хотя рощи, степь, небо ничем не отличались от виденного прежде, все воспринималось иначе, как что-то девственное, нетронутое, таинственное... Я был готов к самым неожиданным приключениям, и на подходах к первой деревне у меня щекотало под ложечкой. Мне рисовалось

языческое селение с кумирнями и идолами, нечто перво-
зданное, старозаветное, я ощущал себя Стэнли и Ли-
вингстоном одновременно.

Дорога пошла на подъем. Показались травяные кров-
ли. Горстка домиков — желтые стены из потопото, бе-
лесые крыши в ярком полуденном освещении...

Вот, значит, как выглядит деревня, впервые посе-
щаемая белым человеком. Я был слегка разочарован,
весьма разочарован. Предельно обыденная картина, ни-
чего сенсационного. К тому же деревня совсем малень-
кая и невзрачная.

Между домами колыхалось знойное марево, ни клоч-
ка тени... Под навесом сампы я разглядел несколько
темных силуэтов. Кто-то встал и вышел на солнце, встре-
чая нас. Как будто часть тени отделилась и выросла
вдруг перед нами.

— Мботе!

В моем голосе звучит нарочитая бойкость.

— Мботе, тата! — Здравствуй, отец!

Где же все люди? Обычно мы хоть детей заставляли.

Нзиколи переводит мой вопрос. Нам объясняют, что
часть людей занята на расчистках в лесу, другие рабо-
тают в поле, а дети убежали и попрятались, завидев
меня.

— Они знали, что я приду?

— Еще вчера вечером пришли люди из Кимбуту и
сказали, что сюда идет мунделе — белый.

Нзиколи дергает меня за рубашку.

— Пойдем дальше, мосье.

Как, сразу же уходить? Равнодушно зевнув и пожав
плечами, пересечь свое первое в жизни белое пятно? Нет,
я должен хоть немного задержаться.

Под жгучим солнцем я обошел кругом безлюдную
деревенскую площадь. В этом не было никакого смы-
сла, ведь я заранее знал, что увижу. И все же я был
счастлив. Может быть, в этом безлюдье, в этом однооб-
разии, в полном покое как раз и заключена вся пре-
лесть? Горстка хижин и белое солнце, неотъемлемые
друг от друга и такие характерные для Конго... Я ис-
пытывал непонятное волнение, тоску по месту, в кото-
рое уже пришел. И не мог понять, в чем дело.

Мы двинулись дальше, но едва отошли от сампы,
как услышали хохот и крики в дальнем конце деревни.

К нам подбежал мужчина и, смеясь, объяснил, что одна старуха, которая в жизни не выходила за пределы родного села, упорно отказывается подойти и поздороваться со мной, отбивается руками и ногами.

— Ну и ладно! Оставьте ее в покое, зачем пугать человека.

Но меня никто не слушал. Кинтагги и Нзиколи тоже пришли в восторг от этой затеи и пошли уламывать несчастную женщину. Мне было не по себе, но вопли старухи и хохот мужчин производили безобидное впечатление. Хотя ее волокли за руку и она упиралась изо всех сил, закрыв лицо второй рукой, ее страх явно не был смертельным. Я добросовестно пожал ту руку, за которую ее привели. После этого бедняжку выпустили, и она под общий хохот убежала за ближайший дом. Впрочем, через минуту она сама выглянула из-за угла, и лицо у нее было очень довольное.

Выйдя на дорогу, я заметил, что Нзиколи явно тяжело идти. Он натянул на израненную ногу полученный от меня носок, чтобы не соскочила повязка, и шагал без обуви, хромая и морщась от боли. На мой вопрос, как нога, он коротко ответил:

— Больно.

Однако мое предложение возвратиться в Занагу и пойти к врачу он решительно отверг. И показать мне палец тоже отказался.

— Так заживет. У меня в Нзомо есть друзья. Один на гитаре играет, самый хороший друг. И там найдутся лекарства.

В самую жаркую пору дня мы устроили привал. Рядом было кладбище, старые могилы заросли слоновой травой, их обозначали воткнутые в землю тарелки. На всех могилах лежала утварь — ржавые керосиновые фонари, потрескавшиеся глиняные горшки, кувшины, чашки, железный тазик. Дождь все забрызгал грязью. В одном месте валялись обломки стола, источенного термитами, в другом висел на шесте принадлежавший покойному тропический шлем.

Могилы батек не закрыты от ветра и непогоды в отличие от погребений бакуту, которые защищают навесами, а то и стенами, сооружая как бы маленький домик. Вся погребальная утварь была намеренно приведена в негодность. У посуды пробито днище, башмаки

порезаны, воткнутые в землю копья сломаны. Может быть, это делается, чтобы воры не польстились?

— Нет, — объяснил мне Нзиколи, — не в этом дело. Просто у нас принято, чтобы вместе с человеком умирали его вещи. Тело и вещи связаны между собой. Раньше, до того как сюда пришли белые, мы хоронили с покойником его же и рабов.

Потом он рассказал мне, как к человеку пришла смерть. Однажды Нзами, сотворивший мир, сказал козлу и собаке: «Ступайте к человеку и передайте, что луна зайдет и больше никогда не вернется. И человек умрет, но после вернется».

Козел и собака отправились в путь. Но по дороге им попало поле майяки, и козел не удержался, остановился пожевать сочных листьев. И собака одна дошла до человека и передала ему послание Нзами, но при этом она напутала, сказала, что луна зайдет и вернется, а человек умрет и уже никогда не вернется.

Тем временем козел наелся досыта и тоже пришел к человеку. И передал слова Нзами правильно.

Но человек ответил: «Мы тебе не верим. Собака пришла первой, мы верим тому, что сказала она».

Вот как к человеку пришла смерть.

Сидя под тенистой акацией, мы дремали и подкреплялись мандаринами из Кимбуту. Дерево только что отцвело, и мы сидели на ковре из красных лепестков. Птицы-ткачики, черные с желтым и красным, гомонили и дрались из-за места в высокой траве. Победители гордо прохаживались, пренебрегая сердитыми криками остальных. Несколько птиц были совсем черные, с длинными хвостовыми перьями, которые медленно плыли в воздухе, напоминая траурный шлейф.

Последняя могила была свежая, оформленная на европейский манер — побеленный каменный саркофаг с крестом. Поверх саркофага лежали темные очки (с разбитыми стеклами) и башмак. На кресте было написано голубыми буквами:

*Здесь покоится
Бали БАНГАНГА
умер в январе 1961 г.*

Во второй половине дня мы прошли через несколько безлюдных деревень. Один раз, задолго до того как

показались крыши, услышали причитание никиты. В неподвижном воздухе голос ее разносился далеко. Когда мы подошли ближе, причитание сменилось возбужденной речью. Нзиколи прислушался.

— Она говорит, что умрет, если белый войдет в деревню и увидит ее.

Я не сомневался, что так и будет. Жалобные крики женщины долго провожали нас. Уже стемнело, когда мы достигли Нзомо. Перед самой деревней нас встретила делегация. Люди были подготовлены к нашему появлению. Я спросил Нзиколи, как это могло случиться. Он коротко ответил:

— Так повелось. Они всегда знают, когда кто-то должен прийти.

В этих местах не пользуются тамтамами. И никто нас не обогнал в пути. Тем не менее в деревне знали, что мы придем, знали даже когда.

ВРАЧЕВАНИЕ

Мы окунулись в атмосферу сердечности и веселого смеха, все от души сочувствовали раненому Нзиколи.

— Киади, киади — беда, беда!

Но сердечность сердечностью, а домик, который мне отвели для ночлега, был маленький и скверный. В огромные щели в потолке я видел звезды. Ладно, сойдет, лишь бы не было дождя.

Хозяин дома был тощий верзила. Меня насторожил его надсадный кашель. Зная, что в деревнях распространён туберкулез, я не очень радовался перспективе занять его кровать. К тому же она, как обычно, оказалась чересчур короткой для меня. Я воспользовался этим предложением и — не без труда — раздобыл другую кровать, подлиннее.

Хозяина звали Бани Нгомо, это был тот самый гитарист, про которого говорил Нзиколи. Он жил один; может быть, поэтому дом его был в таком плачевном состоянии. Нгомо не знал ни слова по-французски. Нзиколи рассказал мне, что его жена умерла много лет назад. Они ждали первенца, но у нее случился выкидыш,

и она истекла кровью. Больше Нгомо не женился — слишком дорого. За новую жену надо было заплатить пятьдесят тысяч франков (тысяча шведских крон) да сверх того отдать несколько мешков соли, одеяла, материю; его родне это было не по средствам. А теперь Бани Нгомо считался уже пожилым, ему, наверно, было лет тридцать пять — сорок.

Я вселился в отведенную мне квартиру, а проща говоря, расстелил на кровати спальный мешок и вытянулся на ней во весь рост. На полу, приманивая тараканов, стояла керосиновая лампа. Вскоре женщины из соседних домов принесли ужин: мясо, вареные бананы, нгаси — пальмовые орехи. Вчетвером мы разместились вокруг стола, прижавшись к нему животами. Нгомо и я в углу, Кинтагги и Нзиколи напротив нас. Спину царапала штукатурка, над головой совсем низко нависал потолок. Обстановка была интимная, жара — нестерпимая.

На столе стоял горшок, а в нем лежало мясо разного рода. Я думал, что это сплошь антилопа, пока мне не попался какой-то очень уж жесткий кусок. Прямо подошва. Я жевал, жевал...

— Послушай, Нзиколи, разве это антилопа?

Так и не прожевав, я выплюнул мясо на тарелку. Нзиколи посмотрел на мою тарелку, потом заглянул в горшок.

— Это? Это же слон, хобот слона.

— А остальное мясо тоже слоновье?

— Нет, тут и буйвол есть, и обезьяна. И антилопа. Деревня явно могла похвастаться искусными охотниками. А впрочем, скорее всего тут не обошлось без старых запасов. Вряд ли в одно время настреляли столько всякой всячины. Но на вкус ничего, а это главное.

Нгомо, гулко кашляя, достал калебасу с кислым пальмовым вином, Нзиколи добыл горячей воды заварить наш кофе. Я угощал крепкими сигаретами «Бразза форте». В португальском магазине в Бояле я закупил двадцать пять пачек. Других сигарет местные жители не признавали.

Сытые, покрытые испариной, мы встали из-за стола. Табачный дым, духота и жара не располагали к тому, чтобы засиживаться надолго. Я убавил фитиль в лампе.

На дворе кромешный мрак, зато свежо и прохладно. Звонко стрекотали цикады, мерцали светлячки. Кинтагги и Нзиколи превратились в голоса во тьме. Из домов доносился приглушенный говор, наверно, ужин был в разгаре. Что-то заскребло по земле. Волокнут поленья для костра... В стороне слышался кашель Нгомо, дверь соседнего дома распахнулась, на улицу хлынул поток желтого света, и выбежала женщина с пылающей головней, за которой рассыпался сноп искр. Она сунула головню в сложенные поленья, положила сверху сухие пальмовые листья, упала на колени и принялась раздувать огонь. И вот уже полыхает яркое пламя.

Мы молчали. Свет костра приковал к месту какого-то облезлого пса. С разных сторон по одному сходились люди. Как будто из тьмы возникали живые скульптуры. Вот сидит, подняв колени, женщина с младенцем на руках. Крохотные ручонки тискают грудь, малыш громко чмокает...

Женщина безучастно курит кривую португальскую трубочку, глядя на огонь. Насытившись, малыш уснул, и голова его медленно отвалилась назад. Рот остался полуоткрытым, ручонки выпустили грудь и соскользнули вниз. За спиной у них стояли в ряд темные фигуры в белых рубахах.

Нгомо пошел в дом за гитарой; она, очевидно, хранилась в укромном местечке. Я не заметил, как стул рядом со мной, на котором только что сидел Нзиколи, освободился. Теперь на него сел Нгомо, держа под мышкой гитару. Отполированную руками деку украшали выжженные черные узоры. Струны из крученого волокна были натянуты на изогнутые, словно лук, деревянные колки с жестянками и железными колечками на концах. Нгомо несколько раз ударил на пробу по струнам, они издавали хриплый тягучий звук. Он подтянул их и попробовал снова. Как будто трясут горох в решете...

Нзиколи куда-то пропал. Кинтагги указал губами на соседний дом:

— Сейчас придет.

Я очень удобно сидел в шезлонге. Натянутая на деревянную раму рыжая антилопья шкура скорее напоминала гамак. Жесткие волоски щекотали спину.

Ночное небо здесь было не такое яркое, как в Швеции. Звезды разбросаны реже, местами и вовсе пусто.

Над самым горизонтом мерцал опрокинутый ковш Большой Медведицы, напротив него стоял торчком Южный Крест. Он как раз кульминировал, дальше с каждым днем будет опускаться, наклоняясь вправо. Луны не было, она еще вечером тонким серпиком ушла за край неба.

Нас окружал невообразимо густой, но странно живой мрак. Древесных крои не различить, они только угадывались там, где вдруг пропадают звезды. Яркий свет костра красными мазками ложился на колени и руки. Белые рубахи были словно нарисованы мелом на черной доске; иногда желтый отблеск вспыхивал на глинобитной стене. Освещенные плоскости, случайные детали, выхваченные из живого мрака, складывались в абстрактные комбинации, творя полный глубокого смысла ритм, который подчеркивался звуками гитары. А я и не заметил, когда Нгомо начал играть.

Вот он запел. На одной ноте произносились нараспев короткие фразы, то и дело перебиваемые надсадным кашлем. Нгомо словно выдавливал из себя песню по кускам. Со стула он пересел на землю и теперь напоминал огромного паука. Согнутые колени широко расставлены, гитара прижата к животу. Нагнувшись над ней, он часто-часто бил по всем струнам. Вторая рука брала внизу аккорды. Просто удивительно, сколько звуков он извлекал из своего инструмента, маленькая гитара звучала будто целый оркестр. Все взгляды были прикованы к нему, зрители раскачивались в лад музыке. Один из обладателей белых рубах принялся стучать ножом по пустой бутылке, получился резкий, острый звук. В эту минуту из тьмы вынырнул Кинтагги и поманил меня за собой.

Я встал; остальные никак на это не реагировали.

— В чем дело?

Кинтагги кивнул в соседний дом:

— Нзиколи там. Нога...

Мы ощупью добрались до дома и отворили дверь. В лицо ударил едкий аммиачный запах. Комната была наполнена паром и дымом. У очага две старухи что-то размешивали в черном горшке; в углу на низенькой скамеечке сидел Нзиколи. В горшке кипело и булькало варево из зеленых листьев, смахивающих на шпинат. Нзиколи снял носок и перевязку и положил ногу на по-

лено. Я взглянул на нее и в ужасе отпрянул. На месте пальца был сплошной комок белого гноя. Вся ступня страшно распухла.

— Это ужасно, Нзиколи! Как же ты мог допустить такое и ничего не сказал! Ведь это уже сколько дней длится... Говорил я сегодня утром: давай вернемся. Это же очень серьезно, сразу видно.

Нзиколи был заметно озабочен, его лицо избороздили мрачные складки.

— Да, наверно, я завтра утром не смогу пойти дальше.

— Что ты говоришь? Идти завтра утром — да ты в своем уме? О чем ты думаешь? Дай бог тебе вообще выбраться отсюда. Придется сделать носилки и нанять носильщиков, чтобы поскорее доставить тебя в диспансер. Это опасно, ты можешь умереть, если тебе немедленно не окажут помощь. Кстати, чем занимаются эти женщины? Небось колдовство какое-нибудь... Опять твой Нзобби! Выплесните эту дрянь!

При слове «Нзобби» лицо Нзиколи сразу изменилось. До этой секунды он смиренно слушал мои упреки, теперь же вскинул голову и посмотрел на меня чуть ли не враждебно.

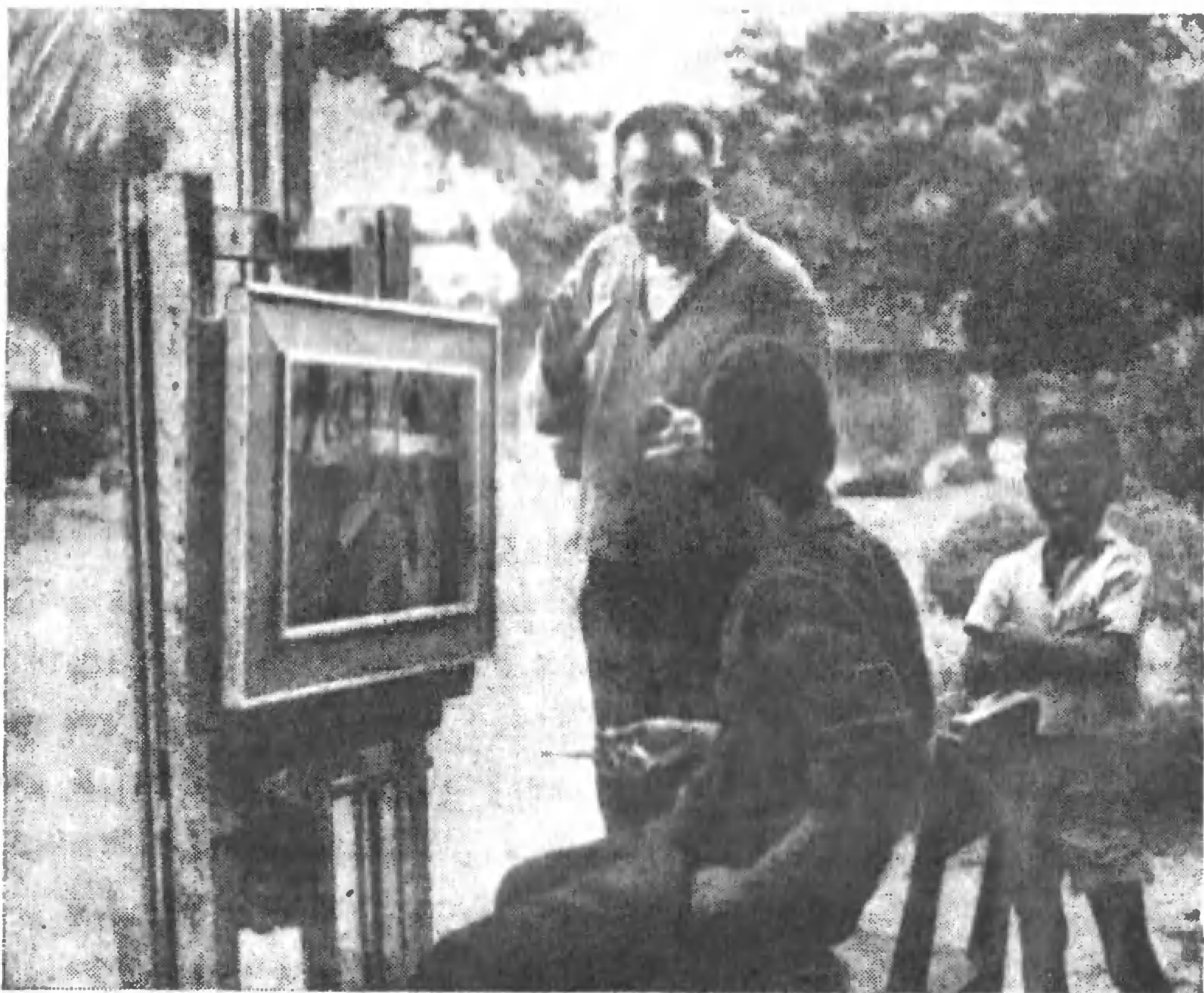
— Нет, это не Нзобби! Еще не Нзобби. И диспансер мне не нужен. Женщины без тебя справятся с этим. Нога будет в полном порядке.

Тон Нзиколи подействовал на меня, как холодный душ. Он недвусмысленно дал мне понять, что это не мое дело, да я и сам уже ругал себя за спесивость. Только теперь я вдруг почувствовал, как сильно привязался к Нзиколи. И ведь палец не заживет скорее оттого, что я буду песочить своего проводника.

— Извини, Нзиколи. Делай так, как ты считаешь лучше.

А вдруг у него начнется общее заражение крови? Такая возможность не исключена. Вдруг Нзиколи умрет, что тогда? Во всем обвинят меня, белого. Кругом на много десятков километров одни чернокожие. Но почему-то сейчас эта мысль меньше всего пугала меня.

Постой, что задумали эти женщины? Сняв горшок с огня, они поставили его на пол перед Нзиколи. Уж не хотят ли сварить его ногу? От едкого пара у меня выступили слезы на глазах, и я закашлялся. Слава богу,



Беседа специалистов

ему не пришлось сразу совать ногу в горшок, сначала зелью дали остыть. Женщины несколько раз проверяли его пальцем. Наконец Нзиколи было велено попробовать.

Он окунул пятку в кипяток и скроил дикую гримасу. Глубже, глубже... Зеленое варево сомкнулось над раненым пальцем, у Нзиколи вырвался стои. Он стиснул зубы, видно было, как перекатываются желваки на скулах. Долго Нзиколи сидел с закрытыми глазами, не произнося ни слова. При виде этого олицетворения острой боли мне стало не по себе. Я вспомнил про уложенную в узел фляжку с коньяком и попросил Киитагги принести ее. Он обернулся в несколько секунд. Пробку долой, горлышко к губам Нзиколи... Он глотнул, поперхнулся, потом сам взял фляжку и отпил до половины.

Кажется, боль поумерилась... К Нзиколи вернулся дар речи. Мы долго беседовали, и лишь когда варево совсем остыло, женщины сделали знак, чтобы он вынимал ногу из горшка. Опухоль заметно спала. Правда, кожа размокла и набрякла, но палец выглядел несравненно лучше. Гпой исчез.

Женщины были явно довольны. Предложение перевязать ногу Нзиколи отверг, допрыгал на одной ноге до циновки и лег.

Я вышел из дома на ватных ногах. Объятый мраком, я чувствовал себя так, словно мне привиделся дурной сон. Перед домиком Нгомо всю танцевали, и ночь пульсировала в размеренном ритме. Костер почти погас. Пока я был у Нзиколи, у гитары Нгомо словно изменился голос. Все выстроились в замкнутый круг, образуя сплошную колышущуюся массу. Нгомо сидел на земле посередине. Я не видел его, только слышал частое бречание гитары. В первом ряду танцевали мужчины в белых рубашках, вооружившиеся погремушками. В яростном темпе звучал плясовой ритм, звонкие голоса женщин были как рвущиеся в ночь вымпелы.

Никто не обращал на меня внимания: ушел, пришел, и ладно. В тусклом свете танец казался фантасмагорией, все сливалось в какой-то серый ком, в единый организм со своим кровообращением, живущий и дышащий в яростном ритме. Я сходил за спальным мешком и растелил его у костра; смотреть можно и лежа. Кинтагги услужливо принес дров, потом ушел к Нзиколи. Ему, бакуту, нельзя было участвовать в этом танце.

Я попытался, не видя бумаги, зарисовать движения танцующих. Водил рукой, словно дирижер, в лад музыке и время от времени подкладывал полешко в костер. Но долгий переход и история с Нзиколи сказались на мне. Все поплыло перед глазами; танец, пронзительные голоса, языки пламени смешались вместе. И я уснул у костра, подле танцующих ног.

Сон был беспокойным, меня преследовали странные видения. Иногда я вскакивал, смутно воспринимая близость качающихся серых спин. В лоскутных сновидениях куски вареного мяса мешались с талым снегом в борозде. Я задыхался в тесной камерке. Гулкая музыка и пляшущие стены, черные стены и желтые языки пламени, грустные глаза Нзиколи...

Наступила тишина. Я проснулся и увидел серый, зябкий рассвет. Туман поглотил нескольких женщин с корзинами на спине; спальный мешок был мохнатый от росы. А в голове еще жило эхо танца. Разбитый, с одеревенелыми суставами, я с трудом поднялся, чувствуя себя так, будто всю ночь ворочал кирпичи. На земле спать — не на перине. Вокруг прогоревшего костра лежали три закутанные фигуры.

Я пошел в свой дом. Нгомо лежал на кровати — на моей кровати — и спал. Спал в одних штанах, и у него была гусиная кожа. Я осторожно накрыл его спальным мешком, вышел и тихо прикрыл дверь. Кругом царило мертвенное уныние, даже не верилось, что всего час или два назад здесь властвовал густой, напряженный мрак и страстный танец.

Нзиколи, его набухший палец, лечебная ванна, это зеленое варево!.. Из соседнего дома доносились громкие голоса.

— Кокорро ко! — сказал я, подражая стуку.

— Входите, мосье! — Это был голос Нзиколи. Он сидел на своей циновке. — Сегодня я себя хорошо чувствую, мосье, только горло немного болит.

— Вот и отлично. Тре, тре бьен, Нзиколи!

Но на огне опять стоял горшок с зеленым варевом. Видно, предстояла повторная процедура. Женщины в ответ на мое приветствие пробормотали что-то невнятное. Нзиколи смеялся и шутил:

— Вас бы я взял в жены, женщины бакуту такого отличного супа варить не умеют!

Казалось, вся комната превратилась в сплошную улыбку.

КОРЗИНЫ И ИДОЛЫ

Мы договорились, что вместо Нзиколи со мной до Кимбы пойдет Нгомо. Из Кимбы я собирался вернуться другим путем, по караванной дороге через область с деревьями мацуа. Наш поход был рассчитан на три дня; мы надеялись, что за это время Нзиколи выздоровеет и сможет возвратиться вместе с нами в Занагу.

— Займи мою кровать, Нзиколи, там тебе будет спокойнее.

Мой план его явно устраивал, и он обещал к нашему приходу совсем поправиться. Единственное, что меня слегка беспокоило,— Кинтагги был не силен во французском. Он знал всего несколько слов, примерно столько же, сколько я на языке бакуту. Ладно, объяснимся на пальцах... Мне не терпелось поскорее отправиться в путь. Во-первых, до Кимбы было не близко, во-вторых,— это главная причина,— мне не хотелось еще раз посмотреть, как Нзиколи будет делать ножную ванну.

— Ну, давай выздоравливай да допей коньяк, что остался во фляжке. Наверно, сегодня тоже будет больно. Сала мботе — счастливо вам, остающимся.

— Енда мботе, енда мботе — счастливо вам, уходящим.

В одной из первых деревень на нашем пути продавались корзины. Сам корзинщик, распластавшись на земле под большим манговым деревом, храпел за милую душу. Его окружали корзины, круглые и квадратные, длинные и узкие, короткие и широкие, одни лежали на земле, другие висели на веревочках на дереве. А хозяин зная себе спал как убитый, и ему ничуть не мешало то, что мы ходим среди его корзин, рассматриваем их, громко разговариваем.

Может быть, взять корзину для Нгомо? Вдруг мне попадутся какие-нибудь талисманы или идолы. Мы долго крутили и вертели длинную мутете, вдруг владелец проснулся, вскочил на ноги и обрушил на нас поток слов. По-моему, это словоизвержение прежде всего было реакцией на неожиданное появление покупателей. Вряд ли он привык к оживленному спросу на его товар.

Постепенно до меня дошло, что мы, по сути дела, вторглись в мастерскую корзинщика. Тут, под деревом, он делал свои корзины, а изготовив достаточное количество, сбывал их на окрестных рынках.

Изрядно поторговавшись, мы договорились о цене, и Нгомо получил свою мутете. Но теперь, когда корзинщик стряхнул с себя сон, от него было не так-то легко отделаться. Он уговаривал нас купить еще; таких отличных, а главное — дешевых корзин нам не найти во всей Майяме.

— Вот эта годится для земляных орехов, а вот

эта — для маниока. Эта для манго, вот та для бананов. Вот эта пришлась бы по вкусу вашей супруге, а эта — дочери. Пощупайте, до чего крепкая, а какие краски!

Он завалил нас корзинами, тщетно мы убеждали его, что с нас хватит одной мутете. Я немало повидал искусных торговцев — в Дакаре, на Канарских островах, во Фритауне, — но этот был всем продавцам продавец. Пришлось купить еще пять корзин, после чего я попросил Кинтагги уговорить корзищика.

— Уйми его, уложи в теши, скажи, пусть спит дальше. А я пока пройду по деревне.

Но корзищик не дал ему и рта раскрыть. Сворачивая за угол, я оглянулся и увидел, что мой Кинтагги стоит весь обвешанный корзинами...

После всего этого гвалта было так отрадно в тиши между домами. За деревней рылись в земле черные свиньи, но люди не показывались. Даже сюда доносился несмолкающий голос панористого корзищика. Под бананами укрылась чья-то могила. Меня удивило, что она без нзвеса; я впервые видел такую могилу у батеке. А что это там краснеет? Я ахнул: это была кукла — ниомбо!

Я подошел ближе. Фигура была очень красивая, сидячая, с вытянутыми руками, ростом около метра. Один глаз — осколочек зеркала, другой — пуговица. Кукла была одета в теплого оттенка оранжевое сукно. Вообще-то ниомбо характерны для бабембе, но племена нередко меняются предметами культа, поэтому вполне обычно найти у батеке бабембского божка. Правда, такие куклы, как эта, в наши дни стали большой редкостью, очень уж материал непрочный: кусок материи на каркасе из прутьев — легкая добыча тараканов и термитов.

Ниомбо мастерят к похоронам. Но сейчас передо мной сидела всего лишь маленькая копия огромных мумий, которые делают в соседнем племени бабвенде. Когда у бабвенде умирал вождь или другой знатный человек, тело подвешивали под потолком его дома и подвешивали копчению. Круглые сутки под ним горел огонь, а родичи и другие жители деревни собирали материю, по преимуществу сукно, но также травяную материю и женскую одежду. Набрав достаточно материала, тело пеленали в него. Верхний покров всегда составляло красное сукно особого вида. Получалась исполинская

кукла с руками, ногами, головой. Чем богаче и могущественнее был при жизни покойный, тем больше материала уходило на мумию и она, естественно, выходила крупнее.

Кукла олицетворяла величие умершего вождя. Голову формовал лучший скульптор деревни, тело расписывали ритуальными черными и белыми знаками. Огненно-красное чудовище, ростом выше деревенских домов, головой под пальмовые кроны, относили на шестах к могиле. Наверно, это было фантастическое зрелище.

И все это великолепие зарывали в землю.

Маленькая кукла бабембе, с которой я теперь встретился, почти в точности повторяла большую. В такую куклу закладывают частицу праха, и она становится предметом поклонения.

Я пошел обратно к Кинтагги и Нгомо. Видно, коммерческое рвение корзищика поумерилось, потому что мои товарищи избавились от корзинок, и теперь все трое сидели на траве и беседовали. Не очень-то надеясь на успех, я рассказал Кинтагги про могилу. Он плохо понимал мой французский язык, поэтому рассказ получился очень обстоятельным.

Я попросил Кинтагги выяснить, можно ли купить ниомбо, и был готов к отрицательному ответу. Но корзищик сказал, что переговорит со своим дядей — это его отец похоронен в заинтересовавшей меня могиле. Долго мы сидели и ждали, наконец пришел мальчуган и что-то сказал Кинтагги. Ему было поручено проводить нас к могиле.

Здесь собралось человек десять. Один из них, старик с редкой бороденкой и седыми волосами, обратился ко мне. Я ничего не понял, но Кинтагги перевел:

— Он спрашивает, сколько ты готов заплатить за ниомбо.

Отлично! Кажется, кукла будет моей! У меня язык не поворачивался предложить меньше тысячи франков. Старик фыркнул и потряс головой. Посоветовавшись с остальными, он объявил:

— Мы хотим десять тысяч франков.

— Я могу дать две тысячи.

— Восемь тысяч, не меньше. Мне две тысячи, вождю две тысячи и двум братьям по две тысячи.

— Сойдемся на трех?

Новое совещание, и я услышал окончательную цену. По тону было ясно, что торг окончен.

— Давай семь тысяч. Братьям хватит по полутора тысяч каждому. Они моложе меня, в этом вопросе я решаю. Семь тысяч, дешевле не отдадим!

Семь тысяч... Изрядная сумма для моей кассы. Но я бы согласился, даже если бы пришлось отдать все до последнего франка! Тем не менее я напустил на себя озабоченный вид и выдержал паузу.

— Ладно, идет.

Мне повезло, что удалось собрать вместе всех трех братьев и вождя. Без этого, уверял Кинтагги, сделка не состоялась бы. Борода был главой рода, его слово все решало, если братья и вождь не возражали.

— Но они говорят, что тебе придется самому забрать ниомбо с могилы. Они не смеют трогать куклу.

Родственники стали в круг на почтительном расстоянии. Чувствовалась какая-то неловкость... Но ведь согласие получено, сделка заключена, чего же тут колебаться. Я подошел к могиле. Ее окружала оградка из пальмовых ветвей, протиснуться можно было только с одной стороны. Кукла сидела в головах, на алтареподобном возвышении из глины. Так что мне предстояло пройти по могиле во всю ее длину.

Я медленно двинулся вперед. Царила мертвая тишина, у меня было такое чувство, что все затаили дыхание. На полпути земля под моими ногами разверзлась, меня окутало облако пыли, и я провалился в яму до подбородка. Зрители дико завопили, им, конечно, показалось, что меня втащил в могилу покойник. В первую секунду я здорово испугался, но тут же выкарабкался наверх, схватил ниомбо и пулей выскочил из ограды. Все бросились ко мне и засыпали меня вопросами: не пострадал ли я, сказал ли покойник что-нибудь, не пытался ли он меня удержать. Естественно, я пережил некоторое потрясение, но вообще-то все объяснялось очень просто. Над могилой поработали термиты, оставив лишь тонкий слой земли сверху.

От Кинтагги я узнал, что местные жители рады будут расстаться с ниомбо. Здесь давно уже считают, что кукла приносит несчастье деревне, но никто не смел ее убрать — как бы покойник не покарал их с того света.

Корзинщик, который помог нам совершить сделку, не

замедлил воспользоваться случаем и навязал мне еще пяток корзин. Так что теперь у меня было десять корзин (одиннадцать, если добавить мутете Нгомо) и ниомбо. Если все это тащить с собой в Кимбу, придется самому стать продавцом корзин! Проблему решил мальчуган, который привел нас к могиле. Он вызвался за пятьдесят франков отнести корзины в ту деревню, где остался Нзи-коли. Я заплатил ему сразу. Нгомо уложил ниомбо в свою мутете, и мы пошли дальше в сторону Кимбу.

Под вечер мы достигли реки Ндуо. Она оказалась почти такой же широкой, как Лали. Кимба лежала на противоположном берегу, за пышными манговыми деревьями. Мы спустились к воде, увязая в рыхлом песке. Чуть поодаль, зачаленная провисшей лианой, приткнулась к торчащему из воды бревну черная лодка. В белых лучах солнца тихо текла темная река, над самой водой носились стрекозы.

Под жиденьким деревцем, на единственном клочке тени, сидели двое мужчин. Один из них, тощий верзила в рваных брюках на подтяжках, неохотно поднялся и медленно подошел к нам. Вид у него был хмурый и недовольный, словно ему помешали делать важное дело. Сладковатый запах пальмового вина выдал, чем они были заняты. Его товарищ был не в силах оторваться от земли и продолжал лежать под деревом кучей белого тряпья.

Не могут ли они нас перевезти? Почему же, можно... Хмурый с великим трудом заставил своего товарища встать, и они подтянули к берегу прогнившую долбленку, залатанную кусками жести. Несмотря на заплаты, лодка протекала, мы стояли по щиколотку в воде. Работая длинными шестами, перевозчики сообщили, что как раз сейчас в Кимбе находится «администратор» — уездный судья Майямы. С утра идет судебное разбирательство. Выйдя на берег, мы увидели в песке глубокие следы автомобильных колес; очевидно судья спускался к реке.

Да, история... У меня не было при себе ни паспорта, ни других бумаг. У Кинтагги тоже. Я знал, что местным жителям не полагается без удостоверения личности покидать свой уезд. Но отступать было поздно. Нас, ко-

нечно, уже заметили, а весть о прибытии белого всегда разносится с быстротой молнии. От крайних домов Кимбы до реки было всего двести-триста метров.

Я посоветовал Кинтагги держаться в сторонке — на случай, если судья еще не уехал. Нгомо, как жителю этого района, нечего было опасаться.

Кимба не только своими размерами производила впечатление районного центра. Белыми стенами выделялось здание государственной школы, я заметил немало железных крыш, магазины, всеерные пальмы окаймляли длинную аллею. На деревенской площади плотная толпа обступила два «лендровеера» с флажком Конго на крыле. Кинтагги и Нгомо бросили меня на произвол судьбы, юркнув в проулок между домами. Я был только рад этому.

Толпа расступалась, и мне оставалось лишь шагать к центру площади. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Тут идет официальная процедура, и вдруг, совсем некстати, являюсь я. Черт бы побрал идиотское преимущество, которое дает мне моя белая шкура!

Над площадью не очень внятно звучал чей-то голос. Недобрый, угрожающий — лучше не перечить! Говорил тучный человек с блестящим от очков и пота лицом. Он гнулся, будто лук, покачиваясь с пяток на носки, и поминутно вытирал шею белым носовым платком. На нем были белые гольфы, черные ботинки, шорты и френч с застегнутыми накладными карманами. Сразу видно человека, привыкшего много ездить в машине и сидеть в мягких креслах.

Увидев меня, оратор оборвал речь на полуслове. Позади него, прислонившись к машине, стояли особняком от толпы двое, один в мундире с португеей и полицейской фуражке французского стиля, другой в шортах и рубахе навывпуск, на голове огромная панама. Человек в панаме опирался спиной на крыло машины, сложив руки накрест. Капот был заставлен пустыми пивными и винными бутылками. Видно, здесь царило веселье, но с приближением заката настроение стало падать.

Я подошел к оратору и попросил извинить меня за то, что помешал. Так уж вышло, я не нарочно.

— А кто вы такой? Что вы тут делаете? Я префект Майямы.

Он почти кричал. Ничего, это лучше, чем если бы

он лебезил... Я объяснил, что я художник, живописец, хожу по деревням, собираю впечатления и изучаю народ.

Вдруг я заметил, что меня не слушают. Человек, назвавшийся префектом, отошел к машине и наполнил пивом огромную кружку. Пена стекла с нее ему на руку.

— Держите, вам, наверное, хочется пить.— Он подал кружку мне.— Это мой супрефект.— Жест в сторону панамы.— А это начальник полиции.

— Живописец,— словно запоздалое эхо пробормотал человек в панаме и вдруг приосанился.— Тогда ты должен написать портрет моей невесты. Вот она.

Он обежал вокруг машины и вытащил оттуда испуганную полуголую девчонку.

— Разве не хороша? Какие глаза, какая грудь, какое тело!

Взор его умилился, и он облапил свою девушку. Обо мне он уже забыл.

Начальник полиции явно чувствовал себя неловко. Он был совершенно трезв.

— Бонжур, мосье. Мы тут разбираем один спор. Как вы сказали? Вы живописец, ходите по деревням?

Он испытующе поглядел на меня с недобрим вниманием.

— И откуда же вы идете?

Я объяснил, что поселился в Занаге, в протестантской миссии. И чтобы отвлечь его внимание от моей персоны, принялся критиковать положение в деревнях. Дескать, не мешало бы властям открыть побольше диспансеров и школ. Местами до ближайшего врача несколько дней пути, пока больного доставят, глядишь, уже поздно.

Начальник полиции терпеливо выслушал меня, но не дал себя провести.

— Да-да, мосье, это верно, здесь еще многое предстоит сделать. Но если вы из Занаги, может быть, вы мне покажете паспорт или другой документ?

Так я и знал... А впрочем, что особенного случилось? Удостоверение личности, паспорт — подумаешь! Я же не преступник. Забыл паспорт — так ведь с кем не бывает. Я напрасно трушу. Кинтагги пришлось бы хуже, чем мне, он рисковал на несколько месяцев угодить в тюрьму. Хорошо, что он вовремя улизнул.

— Паспорт? — небрежно обронил я. — К сожалению, я оставил его на миссионерской станции. Я не ожидал, что так далеко заберусь.

Тут бы мне и остановиться, но я продолжал паниковать аргументы, упираясь собственной находчивостью:

— Да мне как-то не пришло в голову, что Майяма относится к другому уезду. А то бы я, конечно, взял пропуск в префектуре.

Э, кажется, я слишком рьяно напираю на то, что не могу удостоверить свою личность... Как бы не вызвать подозрение! Я осекся, окончательно смешался и покраснел. Подозрительность начальника полиции явно росла, и он смотрел на меня все более грозно. Мысленно я уже видел себя сидящим в грязной тюрьме в Майяме.

— Не может быть, мосье, чтобы у вас при себе не было хоть чего-нибудь, подтверждающего, кто вы такой.

Он глядел на меня как человек, милостиво бросающий круг утопающему. Я знал, что в моих карманах ничего нет, кроме земляных орехов, трубки и табака, но почему не поискать хорошенько, это только подтвердит мою искренность! Я приступил к тщательному поиску, делая вид, что не сомневаюсь в успехе. И когда был вывернут наизнанку последний карман, я изобразил предельное недоумение.

— Это надо же! Что значит, не повезет так не повезет. Я всегда что-нибудь ношу с собой...

Что именно, я впопыхах не смог придумать. Метка «С. С.» на моих трусах вряд ли могла меня выручить. Префект, который до тех пор стоял с безучастным видом, теперь оживился.

— Это как же так, мосье? Ходить в такой глухомани без всяких документов? Да это же опасно, безответственно, преступно! Мало ли что может случиться, и никто не знает, где вы. На здешний народ положиться нельзя. А если вы исчезнете?

Пока префект разглагольствовал, я успел собраться с мыслями. Конечно, он прав, и никто не может требовать от него и его людей, чтобы они знали, кто я. Но зачем же так чернить обитателей края!

— Я согласен, с моей стороны было глупо забыть паспорт. Но что касается моей безопасности здесь, то я совершенно спокоен. Да, я хожу один по деревням, но меня всюду встречают очень тепло, и я еще в жизни

не видел такого радушия. Хотите знать, почему я уверен, что со мной ничего не случится? Да потому что все, кого бы я ни встретил, будь то бакуту или батеке, держались так же приветливо и дружелюбно, как вы.

— Да-да. Разумеется.— Префект помялся.— Вы меня не так поняли. Это верно, народ здесь приветливый, но ведь всякое бывает. Большие леса, дикие звери, можно заблудиться...

Однако начальник полиции еще не снял осаду.

— Вы, конечно, знаете жандармов городской охраны Занаги?

Я кивнул.

— Начальник жандармерии там такой рослый, плечистый мужчина, верно?

Не понимая, в чем дело, я уже хотел поддакнуть, но вдруг вспомнил, что Нзиколи говорил что-то о замене начальника жандармерии в Занаге. Рослого куда-то перевели. Вот оно что: ловушка. И я поспешил ответить, что в Занаге новый начальник жандармерии. Мой ответ явно успокоил начальника полиции.

— Все в порядке, мосье. Теперь я верю, что вы в самом деле вышли из Занаги. Но в другой раз не забывайте паспорт!

Да уж, не забуду. Я поблагодарил за пиво и удалился, как говорится, поджав хвост. Кинтагги и Нгомо ждали меня между домами. Оба изрядно переволновались, опасаясь, что меня увезут в майямскую кутузку.

В самом воздухе Кимбы было что-то угрюмо языческое, чуждое милосердию. Солнце закатилось в желтом зареве, когда судейские «лендроверы» развернулись и ушли на юг в облаке пыли. После их отъезда с наступлением темноты я как будто окунулся в глухой звон. Один за другим на столе выстраивались принесенные местными жителями черные деревянные идолы. Старинные идолы, еле видимые во мраке... Что с ними делать, если ты в них мало что смыслишь? Торговаться... Желтый свет фонаря, скрипичный писк москитов, раздувшиеся животы. Мы сидели за столом — худые деревенские старики, желающие продать своих богов, Кинтагги, Нгомо и я. Одни фигуры были поустойчивее, другие катились на край стола, ускоряя ход, их ловили в последнюю секунду. Когда свет приглушен — и голоса звучат глуше, а идолы распространяют вокруг себя мрак и



Идол батеке с характерной ямкой на животе

располагают к долгим паузам и глубокому молчанию.

Для ночлега нам отвели дом в другом конце деревни. Мы не брали с собой тарелок и ели маниок прямо из листовенных свертков, отщипывая куски и макая их в пальмовое масло с тертыми земляными орехами и перцем. Кроме того, у нас было обезьянье мясо, которое мы запивали пальмовым вином.

Потом мы слушали певцов.

Они входили в дом один за другим — мужчины, женщины, дети — и молча выстраивались вдоль беленых стен; при этом у каждого будто выростала вторая голова, образованная черной тенью. Уже все места у стен заняты, а люди идут и идут. Нас совсем притиснули к столу. Сотни глаз провожали каждый кусок, который я клал себе в рот. В первом ряду стояли ребятишки, которые пытливо изучали меня робкими антилопьиными глазами, озабоченные тем, чтобы был открыт путь к отступлению.

Какой-то странный тип, чудо-юдо заморское, ест маниок... Надо же, он совсем-совсем белый! Здорово, вот он, совсем близко!..

Попробуйте есть бесстрастно на глазах у кучи зрителей, да еще когда они у тебя чуть не на коленях сидят. Губы будто чужие. Какие они у меня обычно? Не приходится сомневаться, что судьба человечества зависит от того, как я жую.

— Кинтагги! Попроси их что-нибудь сыграть или спеть.

Единственный способ более или менее спокойно закончить трапезу... И вот около двери начинает звучать чей-то голос. Это запевала. Остальные молчат, ожидая своей очереди. Лихорадочно уплетаю маниок, спешу использовать передышку. И вдруг будто лавина срывается, все кричат что есть мочи. А домик маленький, стены и потолок впритирку, звуку тесно. Но так уж здесь повелось. Либо пустыня полной праздности, нескончаемой бездеятельности, либо лавина движения, всевластная и неукротимая.

И без того дом набит битком, а тут еще волокут три танцевальных барабана, один другого больше. И вот уже вся лачуга — сплошной монотонный гул, грозящий взорвать стены. А рядом плещется житейское море: сер-

дито глядят друг на друга два спорщика, девушка о чем-то говорит и смеется, у самого моего уха выкристаллизовывается чистый и звонкий детский голосок.

В деревнях мацуа, через которые мы проходили, народу было на удивление мало.

До меня здесь не видели белых.

В первой из этих деревень мы застали большое горе. Маленькая девочка умерла от змеиного укуса. Утром она пошла добывать пропитание семье, сунула руку в крысиную нору, а там вместо крысы пряталась змея, и ядовитая гадина укусила девочку. Она умерла почти сразу — судя по описанию, от удушья. Мы пришли как раз к похоронам.

В другой деревне на площади собралось множество народу. Тропа извивалась вверх по отлогому склону, и мы издали увидели на фоне неба силуэты крыш и людей. В траве что-то шуршало и копошилось, над нами голубел небосвод, но люди на площади были словно неживые. Подойдя ближе, я разглядел, что это вовсе и не люди: в грязном песке стояли мрачные, угрюмые деревянные идолы.

И сразу лучезарное летнее небо померкло, умер веселый ветер. После идолов взгляд находил в деревне одни только черные безотрадные грани.

Чтобы не нарушить величавый покой деревянных богов, мы ходили между ними на цыпочках, говорили вполголоса. За нами неотступно следовали два местных жителя. Слух о том, что я покупаю редкости, опередил меня, и корзины Кинтагги и Нгомо быстро наполнились. Больше того, пришлось нанять паренька, чтобы он помог нести здоровенную фигуру из черного дерева. Она весила сорок килограммов.

Посреди деревенской площади лежал в пыли новорожденный поросенок. Свинья забросила его, и он был обречен. Время от времени он сучил ножками и пищал, но на него никто не обращал внимания. Подошла дворняжка, обнюхала поросенка, фыркнула и проследовала дальше. Я сказал Кинтагги:

— Он ведь живой еще.

— Ага, но скоро подохнет. Один он не выживет.

Когда мы вернулись в Нзомо, там царил страшный переполох. Деревня подверглась нападению львов, они погубили много овец и коз, и, хотя с тех пор прошло два дня, все были очень возбуждены и только и говорили что о кровожадных хищниках.

— Это были самец с самкой,— рассказал нам Нзи-коли.— После того как вы ушли в Кимбу, я еще раз сделал ножную ванну — ух, и больно было! — потом перебрался в дом Нгомо, где ты ночевал. Мне нездоровилось, горло болело, температура поднялась, поэтому я принял хинин и лег на твою кровать. Поспал и температура упала, но к вечеру я так охрип, что не говорил, а шипел. Женщины снова приготовили мне ножную ванну, я выпил лимонный настой и принял еще хинина. Мне главное было отоспаться, чтобы одолеть простуду. А среди ночи я вдруг проснулся с таким чувством, словно что-то неладно. Решил, что это температура виновата, или же меня разбудили комары. А может, тараканы. Тут на дворе тихо заблеяла овца и толкнулась в стену. Потом слышу — вся скотина жметя к дому, даже глина посыпалась. Лучше отогнать скотину, думаю, и без того стены еле держатся, развалят их овцы совсем! Было темным-темно, но я решил, что обойдусь без лампы, и ощупью добрался до двери. Вдруг слышу совсем рядом глухое рычание. Я обомлел от страха. Овцы сразу как заблеют, и копыта застучали, будто барабанные палочки. Нго — леопард — пронеслось у меня в голове. Но нет, звук не такой, леопард кашляет отрывисто, а тут протяжное ворчание, да такое мощное, что кровать тряслась. Но если это не леопард, значит, лев — нкосси! А ворчание слышно уже с двух сторон, потом раздалось отрывистое рычание, и что-то сильно ударило в стену. Глина большими лепешками посыпалась на пол, на дворе отчаянно блеяли овцы. За дверью прозвучало злобное ворчание, потом тяжелые, глухие удары. Я перепугался насмерть. Дом мог в любую минуту развалиться, а дверь — одно название: плетенка из пальмовых ветвей. Я что было мочи давай звать на помощь. А голоса-то не было, у меня вырвался жалкий писк, потом я закашлялся и поперхнулся. Я завернулся в одеяло и

сжался в комок. Зубы стучат, все тело в испарине... Мало-помалу шум на дворе затих. Овцы и козы замолкли, львы стали удаляться, не переставая ворчать. Но даже если бы я смог позвать на помощь, что толку? Все равно никто не решился бы прийти, все лежали и помирали от страха в своих домах, даже самые храбрые охотники не посмели высунуть нос.

Всю ночь деревня была скована страхом. Лишь когда забрезжил рассвет, Нзиколи отважился приоткрыть дверь. И увидел в щель страшную картину. Вся деревенская площадь была усеяна убитым скотом. У самого дома нагромождено четыре или пять трупов животных с переломанными хребтами. А крови мало натекло, только одна коза с разорванным горлом лежала в красной луже. Одиннадцать овец и восемь коз погибли. Пошли по следам, увидели прямо на дороге убитого нзобо, да в траве поодаль лежали остатки овечьей туши.

Да, натерпелся Нзиколи... Зато раненый палец оброс молодой розовой кожицей, и он уже почти не хромотал.

В Мбуту можно было попасть другим путем, не обязательно возвращаться по той же дороге, по какой мы пришли. Однако многие отговаривали нас от такой попытки. Мол, там идти очень трудно, особенно теперь, в сезон дождей, да и подвесной мост через Лали наверно разрушен. Правда, за точность этих сведений никто не мог поручиться. Дорога пересекала область, населенную пигмеями, и жители Нзомо редко ею пользовались.

Мы решили все-таки попытаться. Если мост неисправен, вернемся, только и всего. А вообще-то я уже настолько свыкся с Нзомо, что мне не хотелось отсюда уходить. Этой деревне я мог верить. Так уж я воспринимал деревни: в одних я чувствовал себя как дома, в других нет. Некоторые деревни будто что-то излучали. Не только в людях, но и в домах, деревьях, даже в воздухе было что-то особенное.

Женщины снабдили нас изрядным запасом еды на дорогу. Мы двинулись в путь рано утром, и я всем сердцем надеялся, что мне когда-нибудь еще представится случай сюда попасть. Почему люди так быстро покидают места, которые им по душе?..

— Нзиколи!

— Да.

— Останемся еще на день...

— Да. А почему?

Он явно обрадовался, ему тоже понравилась Нзомо.

— Да просто деревня хорошая. И твоей ноге полезно еще отдохнуть.

Мы вернулись. Все удивлялись, спрашивали, в чем дело, что произошло.

— Да ничего не произошло.

Нзиколи объяснил, что нам просто захотелось погостить у них еще один день. Не знаю, были ли они рады или польщены. Во всяком случае, расспросы скоро прекратились, и все пошло заведенным порядком. Мы весь день пролежали в шезлонгах под навесом сампы. Мы дремали, время ползло, потом испекли бананы в золе, а вечером принялись за свои припасы и смотрели, как заходит солнце и вся деревня делается багровой.

На следующее утро мы еще раз простились с Нзомо и пошли через степь, огибая рощицы. Недалеко от Лали вступили в густой лес, и здесь нам попалась большая деревня пигмеев.

— Мост через реку неисправен,— сказали нам.— Придется вам ночевать тут. Завтра люди пойдут с вами и починят его.

Бабонго — пигмеи — малорослые и робкие, у них очень черная кожа. Они тенями скользили по деревне. беззвучно появлялись, беззвучно исчезали. Рядом с ними я чувствовал себя неуклюжим и толстомясым. От неловкости я по большей части сидел на скамеечке, силясь выглядеть достойно. Мне показали божка из черного дерева, так сказать, перевод католической девы Марии на образный язык здешних обитателей. Мадонна была облеплена коркой из засохшей крови, слюны и глины. Голова с покрывалом и молитвенно сложенные руки облиты желтой жижей.

Похоже было, что бабонго не придают большого веса земному имуществу. Вся одежда — обвязанный вокруг бедер лоскут из грязной хлопчатобумажной ткани или из травяной материи. Дома — простенькие конурки.

Дети сторонились нас. Лишь после того как мне удалось убедить одного малыша поздороваться, подошли и остальные, все сразу. Глядя мне прямо в глаза, они обменялись со мной крепкими рукопожатиями.

В сумерках пришли женщины, неся огромные гроздья бананов. Во всех домах хлопотали, над крышами вился голубой дымок кухонных очагов. В час ужина и вечерней беседы вся деревня дышала миром и покоем. И вдруг ни с того ни с сего рядом со мной разразилась схватка. В приступе неожиданной бешеной ярости одна собака воцпила зубы в глотку другой. Опрокинутая на землю жертва взывала так, что меня жуть взяла. Нзиколи и пигмен бросались разнимать собак, но, сколько ни тянули и ни дергали, не могли их расцепить. Первая собака только крепче смыкала челюсти. Ее били палками по спине — без толку. Визг жертвы звучал все слабее, потом она захрипела.

Пигмеи страшно переполошились. Нзиколи кричал: — Собака бешеная! Собака бешеная!

И впрямь, было что-то ненормальное в этой необузданной ярости. В конце концов удалось разжать палкой челюсти разбойницы. Одновременно кто-то нанес ей страшный удар дубинкой по спине. Похоже было, что перебит позвоночник, но собака словно и не заметила удара. Рыча и брызгая слюной, она устремилась к лесу; задние ноги волочились по земле. Чуть не вся деревня побежала следом, чтобы загнать собаку подальше в лес.

— Почему вы ее не убьете? Ведь если она бешеная, это очень опасно...

Нзиколи ответил, что здесь собак никогда не убивают. Только прогоняют в лес; там они пропадают.

Вторая собака лежала на земле, не подавая признаков жизни. Но когда хозяин потискал ее, она зашевелилась.

В эту ночь мне спалось скверно. Я еще никогда не почевал в такой примитивной и тесной лачуге. Нзиколи и Кинтагги взбунтовались и заявили, что лучше лягут на улице, у костра. Вряд ли дело было только в тесноте: дорожа своим достоинством, бакуту и батекке не могли заставить себя спать в доме бабонго.

На следующий день все мужское население деревни пошло с нами, чтобы отремонтировать мост. Он в самом деле пришел в ветхость. Старые лианы совсем сгнили, но бабонго живо нарезали в лесу новых, крепких лиан.

Зажав в зубах свежую лиану, один из пигмеев полез

на ту сторону. Мост раскачивался, издавая угрожающий треск. Люди качались в воздухе, словно мошки в паутине, а внизу бурлила коричневыми водоворотами быстрая Лали. Речка тут намного уже, чем около Кимбуту, оттого и течение сильнее. От Нзиколи я узнал, что здесь водятся крокодилы.

После расчета с пигмеями я остался совсем без денег; как-никак целая деревня работала полдня. Двадцать человек получили по сто франков каждый. А мы за свою праздность при починке моста дорого поплатились, когда продолжили путь в Мбуту. Тропу перегородил бурелом, мы проваливались по колено в грязь и то и дело теряли дорогу в густой траве.

Я шел впереди, за мной неслышными шагами семенил Нзиколи. Вдруг сильный удар сзади по плечу отбросил меня в сторону. Я едва удержался на ногах. Неужели Нзиколи помешался? Или это он меня за мою белую кожу... Я быстро повернулся. Кинтагги и Нзиколи стояли будто окаменелые, но смотрели они не на меня, а на тропу. Нзиколи показал рукой:

— Мпиди.

Тут и я увидел змею. Свернувшись в пружину и подняв голову, готовая к атаке, она лежала в том месте, где тропа терялась в траве. Еще один шаг, и я наступил бы на нее. Змея была толстая и короткая, всего какой-нибудь метр. Черный узор на желто-зеленой коже делал ее почти неотличимой от тропы.

Мпиди — вялая и медлительная, зато одна из самых ядовитых змей Конго. Завидев человека, она не уползает, как другие змеи, а лежит неподвижно на месте. Наступишь — молниеносно укусит.

Пока мы лихорадочно искали, чем бы прикончить гадину, она скрылась в траве. У Кинтагги в мутете лежал длинный нож, но он не решился пустить его в ход, боясь промахнуться.

Было уже темно, когда мы пришли в Мбуту. Деревенские жители были заняты танцами, а в доме, где мы ночевали в прошлый раз, ползал по полу какой-то калека. Впрочем, вскоре прибежал владелец дома. Он был заметно навеселе и принял нас чрезвычайно сердечно. В Мбуту отмечали большой праздник и собралось немало народу из окрестных деревень.

Усадив меня на стул, хозяин поднес мне стакан ку-

курузной водки с сивушным запахом. При этом он непрерывно сыпал словами, которых я не понимал. Не беда, он явно сам же отвечал на свои вопросы. Водка была отвратительная, с затхлым привкусом, и больше всего на свете мне хотелось поскорее лечь спать. Ноги гудели от усталости, глаза слипались. К счастью, мне не пришлось пить до дна, потому что хозяин, не переставая говорить, исчез за дверью. Нзиколи принес горшок с вареным мясом; он обладал удивительной способностью переключаться на других обязанности стряпухи.

После ужина я рухнул на кровать и, несмотря на дикий гомон и барабанную дробь, тотчас уснул. Прошел, должно быть, не один час, прежде чем я проснулся. В комнате было темно, кто-то забрал лампу, которую я оставил зажженной возле кровати. Я упрятал голову в спальный мешок и попытался уснуть опять — тщетно. Весь дом колыбался в ритме танца. В конце концов мне надоело ворочаться с боку на бок, я отыскал висевшие в ногах штаны и достал спички. В соседней комнате сидели Нзиколи и Кинтагги, лампа стояла на столе. Стекло треснуло. Они явно еще не ложились, всё беседовали за калемасой пальмового вина.

— Вы еще сидите?

— Да, нам не хочется спать.

— Еще бы! Слишком много музыки?

— Да.

— Пойдем, поглядим?

Мы отворили дверь, и навстречу нам хлынул танец, необузданный, оголенный. Всю площадь заполнили люди, и все танцевали, медленно кружа вокруг барабанщиков и других ударников. Вверх-вниз, вверх-вниз тряслись стручки-погремушки; неистовая дробь ударов без конца обрушивалась на лоснящуюся антилопью кожу барабанов. На длинном шесте в центре висел фонарь, источая ослепительно белый свет. Современная конструкция, поставляемая португальскими торговцами. Свет выхватывал из антрацитной тьмы ярко-зеленые ветки деревьев.

Мы стояли с краю, чувствуя, что этот танец только для посвященных. Во всяком случае, не для людей с такой неприлично белой кожей, как у меня. Почему я не черный, почему не могу отдаться танцу так же беззаветно, как они? Меня точила нелепая злость на врожден-

ный порок, который лишал меня всего этого. Мимо, как одурманенные, проплывали женщины и мужчины, не по двое, а каждый порознь, и однако всех объединяло некое властное единство.

Вдруг музыка смолкла. Точно кто-то заткнул мне уши. Танец прекратился, и на несколько секунд все застыло, словно провалились в вакуум. Но вот опять глухо, как будто заблудившееся эхо, заговорил один барабан. И люди тоже заговорили.

Прямо передо мной остановился пьяный с мутными глазами. Должно быть, его взгляду представилось сразу двое белых, потому что он наклонил голову набок, зажмурил, кривясь, один глаз и попытался сфокусировать меня другим. Ему никак не удавалось определить, что же все-таки он видит. Белый?.. Но каким образом? Вдруг в мозгу у него что-то сработало. Он наконец разглядел меня.

— Белый! Что он тут делает?

Недобрый, резкий голос перекрыл гомон толпы, и хотя слова были произнесены на языке китеке*, я их понял. Тотчас воцарилась мертвая тишина. Только барабан продолжал глухо рокотать.

Почему так тихо? Разве происходит что-нибудь недозволенное, не предназначенное для моих глаз? Все уставились на меня. Как будто впервые увидели, хотя многие отлично меня знали.

— Нзиколи! В чем дело?

Куда подевался Нзиколи? Я обернулся. Нету, кругом только кромешный мрак. Но ведь это вздор, я не имею ничего общего с белыми угнетателями и эксплуататорами. И меня никак не назовешь расистом.

Но я белый... Если бы я мог говорить на их языке. Хотя бы несколько слов.

А человек, который поднял тревогу, продолжал орать что-то, то и дело показывая на меня рукой. Остальные с сочувственным бормотанием медленно наступали все ближе. Что делать? Вконец растерянный, я достал из кармана пачку сигарет, подошел к своему антагонисту и предложил ему закурить. В первый миг он смешался, но тут же приготовился к новой атаке, пренебрегая сигаретами.

* К и т е к е — язык народа батек.

В это время появился Нзиколи. Никогда еще я ему так не радовался.

— Объясни...

Нзиколи стал передо мной и заговорил. Ростом он был не выше бабонго. Сначала голос его звучал тихо, он словно разговаривал сам с собой, окружающим надо было напрягаться, чтобы расслышать его. Но никто не перебивал, и я почувствовал, что еще не все потеряно. Не понимая языка, я все же догадался, что речь идет о наших совместных странствиях. Звучали знакомые названия: Кимбуту, Кроткий Нрав, Кимба. Нзиколи все более увлекался собственным рассказом, ему уже не хватало слов, он помогал себе руками.

Одна из женщин рассмеялась; не иначе, Нзиколи дошел до того, как я шлепнулся в грязь. А теперь рассказывает о своем пальце... Нзиколи сделал несколько шагов, ступая на пятку. На лицах слушателей было написано соболезнование.

Принесли стулья. Нзиколи характеризовал меня:

— Это очень хороший друг, сын нашей страны. Не все белые одинаковые.

После его речи настроение изменилось. Пьяный буян, который кричал на меня, подошел и предложил мне малаву — пальмового вина. Зазвучала музыка, танец возобновился.

На следующий день мы продолжали путь до Сиессе, где стояла моя машина.

В деревне, где жил на окраине дурачок, нам рассказали страшную историю. Однажды ночью вся деревня проснулась оттого, что дурачок кричал и колотил в стены лачуги, в которой он был заперт. Люди решили, что у него припадок, и никто не пошел к нему. Долго были слышны его крики, потом они затихли. А утром, когда ему принесли еду, увидели, что он мертв, съеден бродячими муравьями. На полу, на стенах, на потолке — всюду кишели муравьи, а от человека остался почти один скелет.

Что я помнил о нем? Пустые, отсутствующие глаза, которые неотрывно провожали нас... Такие не скоро забудешь.

Машина стояла на месте под апельсиновым деревом, никто ее не тронул. Нзиколи снял травяные завязки с ручек. Вождь получил мою последнюю стофранковую

бумажку за надежную охрану. Мотор заработал сразу, машина рванула с места, и еще до захода солнца мы были в Умвунни.

МНОГО ОБИТЕЛЕЙ

Снова Ндото и Нганда принялись баловать нас раками. Нзиколи взялся наводить порядок в своих запущенных делах.

С утра до вечера он обсуждал с компаньоном, который заведовал лавкой, цены на платки и серьги, выяснял, какие товары кончились, что надо заказать в Долизи.

Кинтагги починил крышу, протекавшую над моим ложем; я помог ему поставить ограду вокруг дома. Иногда мимо в облаке пыли проносился мосье супрефект в своей машине. Идоллов из Кимбы я свалил в углу комнаты. Узнав об этом, соседи ночью далеко обходили мой дом.

Часто шел дождь — сильный, зато недолгий, и земля быстро просыхала под знойными лучами солнца. После дождя все краски были удивительно чистыми.

Я собрался ехать на миссионерскую станцию, но тут в небе стремительно выросли огромные грозные тучи. Несмотря на полуденный час, стало совсем темно, и светло-зеленые шары апельсиновых деревьев с поразительной яркостью выступили на зловещем фоне мрачного неба. Вся деревня примолкла, овцы и козы жались к стенам, куры взлетели на ветки, служившие им насестами. Я вернулся в дом. Кинтагги сидел на стуле у двери. Пропуская меня, он сказал:

— Мвула минги — много дождя.

— Н-да, боюсь, ты прав. Похоже, сегодня моя поездка не состоится.

Когда вдали послышался глухой шум, Кинтагги встал, зашел в спальню и лег на кровать. Лежа на спине, он удовлетворенно обозрел потолок.

— Крыша починена. Теперь на кровать мосье не протечет.

Хотя я не понимал языка, нетрудно было догадаться, что он сказал. Не успел он договорить, как налетел шквал, от которого вся крыша заходила ходуном. В воздухе закружились пальмовые листья и сломанные сучья,

ветер пригибал деревья к самой земле. А я забыл поднять стекла у машины!

Я выскочил наружу, исправил свою оплошность и метнулся обратно. Дождь застиг меня в десяти метрах от дома. Завеса воды заслонила дверь, и я чуть не задохнулся. Икая, словно нахлебался в реке, я ворвался в дом и получил от смеющегося Кинтагги одну из юбок Ндото.

Мы сидели за столом вокруг керосиновой лампы, но разговор не клеился. Дом трещал, крыша пыхтела, словно кузнечный мех. Мы тревожно поглядывали на нее, наконец она облегченно вздохнула. Дождь кончился — как будто курьерский поезд пронесся мимо нас к лесу. Мы отворили дверь; словно по команде, одновременно открылись двери всех домов деревни. По улице все еще бежал веселый ручей, на угловом столбе нашего дома висела захлебнувшаяся курица. Небо опять голубело, по-утреннему бодро кукарекали петухи.

На миссионерскую станцию я попал на следующий день, как раз к обеду. От азу с картошкой, ветчины и тресковой икры повеяло такой Швецией, что танцевальные барабаны бакуту сразу ушли на дальний план. Я разбирал свои путевые наброски, записи и пометки, по которым собирался продолжить работу в Швеции. Большинство набросков я сделал во время ночных танцев, не видя бумаги. На холстах я нанес цветовые аккорды, какими они запечатлелись в моей памяти. Все собранные предметы снабдил ярлычками с указанием места, племени и числа, когда они были приобретены. Кроме того, я читал «Домашнюю хозяйку» и старые шведские газеты, постигая, как испечь волшебный торт и как лучше использовать новый курортный сезон.

Территория миссии представляет собой большой, прямоугольный газон ядовито-зеленого цвета, плоский и пустой. Его пересекает дорога, соединяющая Долизи и Занагу, и в обе стороны без конца идут люди. Вечерами, играя в крокет, мы видели вереницы женщин с тяжелыми ношами на голове. По пятницам приходил автобус из Долизи, вернее, он должен был приходиться согласно расписанию. На самом деле он частенько застревал в пути — то увязнет в потопото, то мотор откажет. Водитель почти не снимал руки с сигнала, так что автобус было слышно издали, прозевать невоз-

можно. И всегда в нем было полным-полно пассажиров, которые высовывались из окон, махали и кричали. У католических миссионеров был свой отличный «лендровер»; длиннобородые «братья» и «отцы» проезжали по нем в своих белых почтовых рубашках, делая рукой братские и отеческие жесты.

К участку миссионерской станции примыкал высокий дремучий лес. В глубине леса находился диспансер с корпусами для больных. Дорога к диспансеру не видела солнца и всегда была скользкой от сырости и прели.

На прогалине стояла белая церквушка, куда полагалось ходить в воскресенье, надев чистую рубашку. От пения чернокожих прихожан дрожали стены; пастор произносил бесконечно долгую проповедь, из которой я не понимал ни слова. Многие засыпали на своих скамейках, но служка с палкой подталкивал в спину главных сонь, бдительно следя за порядком, пока сам не попадал в объятия Морфея.

На той же прогалине помещались школа-интернат и столярная мастерская. Здесь, в двух кирпичных домиках с железной крышей, жила молодая чета миссионеров и медицинская сестра. Сестра занимала домик поменьше, выстроенный еще в тридцатых годах, когда миссия только начинала свою деятельность. Мне отвели гостевую комнату у заведующего станцией и его супруги.

Нынешние миссионеры непохожи на прежних патриархов, которых часто величали мфуму — почтенный господин. Это обыкновенные люди, свободные от предвзятости и увлеченные своим делом. На каждом шагу я наглядно убеждался, как нужна их работа. В диспансер без конца шли бедняги, которых не смог исцелить шаман. Медицинская сестра героически сражалась против дурно пахнущих, воспаленных язв и малярии, пожирающей кровяные тельца и окрашивающей белки глаз в желтый цвет. Но больше всего распространены глисты и венерические болезни.

Многие попадали сюда слишком поздно, когда их уже нельзя было спасти. И на долю сестры нередко выпадала черная неблагодарность.

— Ну, конечно, — говорили люди. — Мы так и знали. Куда тебе до нашего шамана. Зря только принесли больного сюда, глядишь, дома он бы поправился.

Если требовалась серьезная операция, больного отправляли самолетом в больницу в Сибити, где работал французский врач.

В школе преподавали местные жители, окончившие училище при миссии. Вообще миссионеры старались по-больше привлекать ко всяким делам конголезцев, помогая им советами и указаниями.

Из числа местных жителей назначали пасторов, руководителей сект и проповедников.

Миссионер Енссон посылся как угорелый на мопеде, и рубашка белым парусом раздувалась за его спиной. Повар месил на кухне тесто для блинов, на дворе я чинил свою машину с помощью шофера миссии.

Вечерами, когда смолкал церковный колокол, созывающий прихожан на богослужение, издалека чуть слышно доносился рокот танцевальных барабанов бакуту. По комариному пологу, трепеща крылышками, ползали ночные бабочки, на потолке сидела светлая ящерица. Лягушки и цикады квакали и стрекотали, тихо шуршала веерная пальма, ночной сторож извлекал монотонные звуки из своей музыкальной шкатулки.

В один из таких дней мне принесли письмо. Написанное рукой писаря в Умвунни, оно было продиктовано Нзиколи и гласило:

«Прошу срочно прибыть. Очень важно. Приветствую вас своей правой рукой. Ваш близкий друг.

К сему Нзиколи Илер, торговец из Умвунни, Конго».

Что ж, значит, пора снова в путь! Отдых в европеизированной обстановке миссионерской станции — тресковая икра, глаженные рубашки, вечерняя молитва — были лишь эпизодом, сноской к поэме о мире, где не измеряют времени.

Но когда я на следующий день встретил Нзиколи, у него был очень кислый вид. Он сдержанно пожал мне руку.

— Здравствуй, Нзиколи! — бодро приветствовал я его.

— Здравствуй. — Ответ прозвучал весьма сухо.

Он мог бы быть полюбезнес... Но Нзиколи упорно продолжал дуться.

— Ты что такой кислый? Как будто мне нельзя отлучиться на несколько дней, ведь все мои вещи там, на миссионерской станции!

— Ты получил мое письмо?

— Да. Без этого я бы не был здесь сейчас...

— Гм.

Он еще больше помрачнел, отвернулся и обратил сердитый взгляд на курицу, которая тюкала клювом по земле.

— По-твоему, я должен был выехать вчера вечером? Было уже темно, когда принесли твое письмо!

— Гм.— Нзиколи посмотрел на меня.— Ты пропустил очень важные танцы. Неужели у тебя было так много дел в миссии? Я ведь написал: очень важно!

— Я уже видел танцы, чем же эти от них отличались?

— Ну, да. Конечно...

Долго царило молчание. Ладно, молчи, мне спешить некуда. Вдруг я разозлился.

— Если у тебя все, лучше я поеду обратно.— Я отворил дверцу машины.

— Мосье! — Нзиколи всполошился.— Понимаете...

— Ну, что такое?

— Во время танца здесь было несколько вождей. И мы говорили о тебе и о наших странствиях. Ты почти наш. Ты пожил среди нас, повидал почти все, что у нас есть,— наши танцы, как мы живем.

— Верно. Так что же?

— Ну и я знаю, что тебе интересно все, чем мы занимаемся. И вожди разрешили тебе посмотреть на Унгаллу в Макеле. Такого ты еще не видел. И они согласились, что можно показать тебе, где живет Нзобби.

— Унгалла, это что такое? И разве Нзобби где-то живет, я думал, он повсюду...

Дурное настроение Нзиколи, которое передалось и мне, уже выветрилось.

— Унгалла — это почти как Нзобби,— горячо объяснял он.— Но Унгалла живет у рек, у воды. Нзобби есть почти в каждой деревне, он живет в лесу по соседству.

— В каждой деревне? И в этой тоже?

— Ну да, и здесь тоже. Мы как раз туда пойдём. Но сперва надо зайти за вождем. Он нас ждет.

Неужели в деревне или ее окрестностях в самом деле есть какое-то особое место, которого я не углядел, какая-нибудь кумирня? Я осмотрелся. Большой дом вождя стоял на краю деревни. Хозяин вышел нам навстречу

в своем широком черном пиджаке, надвинув берет на самые брови.

— Бонжур.

Других французских слов он не знал и принялся бормотать: «Нзобби, Нзобби, Нзобби», хитро поглядывая на меня и потирая руки.

Подошли еще трое из числа старейших. Они приволокли два барабана. Похоже, собралась вся местная религиозная верхушка.

Куда же мы пойдём? Скорее всего кумирня Нзобби расположена поблизости от дома Кинтагги, там есть густой лесок с непроходимым кустарником... Может быть, в лес ведет тайная тропа.

Однако мы направились в противоположную сторону, вышли из деревни и метрах в ста от последнего дома остановились. На обочине торчали острые листья ананаса, от них в кусты уходила едва заметная тропка. Мне сделали знак подождать, и Нзиколи вместе со стариками исчез в зарослях. Густая трава сразу сомкнулась за нами. Я сел на камень и закурил трубку. Буйная яркая зелень вдоль обочины, пурпурная латеритная дорога, в воздухе порхают белые бабочки... Я уже начал задумываться, куда пропали старики, но вдруг услышал в лесу рокот барабанов.

Потом зашуршали листья, и из кустов вынырнул Нзиколи.

— Готово, вы можете идти, мосье!

Мы давно перешли на «ты», но в торжественных случаях Нзиколи всегда говорил мне «вы» и «мосье».

Нзиколи повел меня за собой. Тропа извивалась среди воздушных корней и роняющих плоды одичавших кофейных кустов. Между стволами деревьев раскатывалась барабанная дробь. Выйдя на прогалину, Нзиколи остановился. Дальше путь преграждал частокол из пальмовых ветвей.

— Здесь? — Я поймал себя на том, что говорю шепотом.

— Нет, там, внутри.— Нзиколи показал губами.

Он подошел к частоколу, выдернул из земли несколько веток, и открылся черный лаз.

— Здесь входить.

Мне вспомнился туннель в увеселительном парке Стокгольма. Нзиколи пригнулся и полез первым. Ход

был тесный, все равно что верша из пальмовых веток. А я далеко не пигмей... Осторожно, чтобы стенки не обрушились на нас, я нащупывал путь. В конце лаза стоял вождь. Он протянул мне зеленый лист — так сказать, входной билет. Я хотел его взять, но вождь держал крепко. Тогда я оторвал край. Вождь забрал свой клочок, потом расстегнул мне рубашку и выплюнул на грудь лепешку разжеванного ореха кола.

Необычное зрелище представилось моим глазам. Огороженная площадка, а на ней маленькие, от силы метр в высоту, домики. Посередине высилось одинокое дерево. От лаза трона вилась среди домиков и длинных, красных в белую крапинку реек. В тени под деревом устроено что-то вроде алтаря, тоже красного цвета с белыми точками. Ступая следом за Нзиколи, я медленно прошел по всем извилам тесного лабиринта. Воздух был недвижим, солнце стояло в зените, и основание одинокого дерева в центре лилипутской деревушки было обведено круглой тенью.

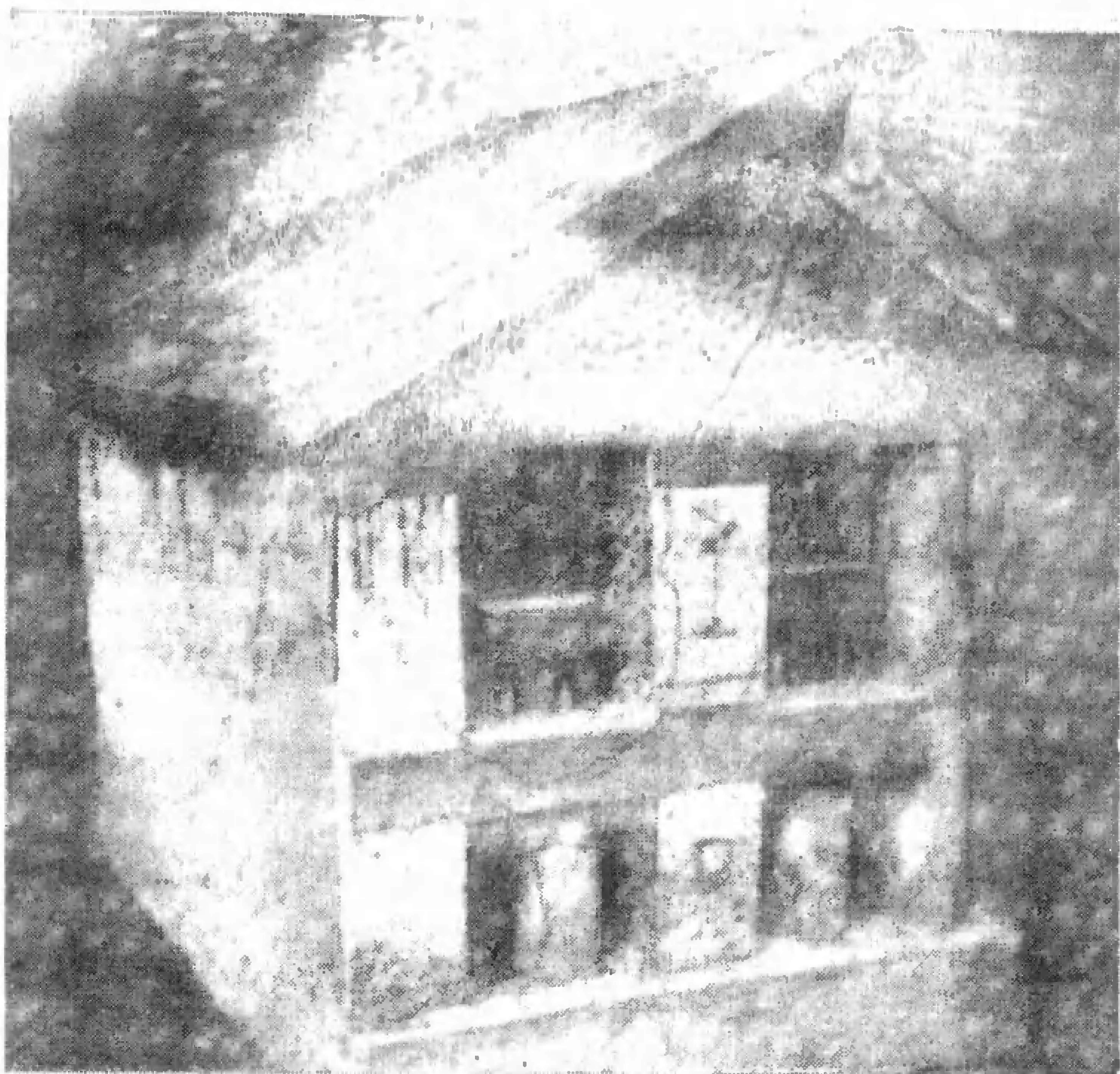
Мы шествовали между рейками, возвышаясь над крышами домиков, словно два великана. Перед алтарем остановились, и барабаны смолкли. Нзиколи сделал шаг вперед, вытянул руки, поднял лицо вверх и начал громко говорить, обращаясь к кроне дерева. Моя рубашка в красную клетку висела на нем мешком, грязно-желтые брюки тоже были чересчур велики и волочились по земле. Из кеда торчал мизинец.

Я не понимал ни слова, но догадывался, что меня кому-то представляют. Нзиколи несколько раз указывал на меня рукой, как будто кто-то сидел на дереве и слушал его. После того как я был представлен, за алтарем родился тягучий звон. Там стоял вождь. Он вращал вокруг своей головы непонятный предмет на длинной веревочке. Нзиколи шепотом пояснил:

— Нзобби. Это Нзобби отвечает.

Пронзительный звук резал уши. Повернувшись к алтарю, вождь несколько раз поклонился, при этом все стихло.

Мы вошли в лабиринт. Ритуал свершился, можно было говорить в полный голос. Вождь показал мне предмет, который так странно звучал. Это была длинная плоская дощечка. Когда ее вращали, она заставляла воздух колебаться особым образом, но для этого требо-



Домик Нзобби

вался навыв. Сколько я ни пробовал, мне не удалось вызвать голос Нзобби.

Нзиколи объяснял мне, что происходит на культовой площадке.

— Здесь убивают всех животных, чье мясо едят во время танцев в честь Нзобби.

Земля была черная от запекшейся крови. Тут и там из земли торчало что-то, видом напоминающее не то силки, не то маленькие виселицы. Из слов Нзиколи я понял, что разные предметы тут как бы символизируют занятия жителей деревни. Один связан со сбором пальмового сока, другой — с охотой и так далее.

Нзиколи отворил для меня дверцы маленьких домиков. Внутри лежали, словно куклы, деревянные идолы,

а также своеобразные палицы. Все было загрунтовано белой краской и расписано красными и синими точками.

— А ты не можешь их вынуть, чтобы я посмотрел на свету?

Нзиколи опустился на колени и начал вытаскивать кукол одну за другой. Белые фигурки обитали в каждом помещении. В отдельном домике, в плетеной ротанговой колыбели, лежала здоровенная скульптура с посаженной в ямочке на животе агавой. Растение хорошо принялось и зеленело сочными листьями.

— Это мертвый человек,— объяснил Нзиколи.— Смерть тоже представлена здесь.

У всех человекоподобных фигур было на животе по агаве, а из головы торчали перья лесной птицы, которая славится изумительным синим оперением.

Идолов извлекли из домиков и расставили на земле. Вождь подошел ко мне и что-то сказал. Нзиколи перевел.

— Он говорит, что ты должен оставить матабис — дар для Нзобби.

— Сколько?

— Триста франков.

Я поискал в карманах.

— У меня только бумажки по тысяче франков.

— Ничего, разменяем у меня в лавке.

Идолов вернули на место. Я поблагодарил за показ, и мы возвратились в деревню. На нас глядели с опаской, все понимали, что мы ходили на свидание с Нзобби. Но никто ни о чем не спрашивал.

— Так ты говоришь, Нзиколи, что во всех деревнях бакуту есть такие кумирни?

— Нет, не во всех. Почти во всех.

— Я смогу увидеть еще?

— Конечно. Теперь, когда ты увидел одну, это больше не тайна. Во всяком случае, для тебя...

ПРОКЛЯТИЕ УНГАЛЛЫ

Ритуал Унгаллы должен был происходить в деревеньке Макеле, среди белого дня. Я переночевал, как обычно, у Кинтагги, а свободные утренние часы запол-

нил разговором с Нзиколи, который поделился со мной обширными планами своих закупок. Он намеревался составить мне компанию до Долизи, когда придет время мне уезжать из Конго.

Около полудня мы выехали в Макеле. Когда мы прибыли, там уже собралось немало народу. Сбежались ребяташки, окружили машину и хором закричали:

— Тата Нзиколи! Тата Нзиколи!

Сопровождаемые многочисленным эскортом, мы присоединились к толпе. У Нзиколи здесь было много знакомых, и мы без конца пожимали протянутые руки.

Макеле жарилась в лучах полуденного солнца. Здесь, как и всюду, среди деревни особняком стояла сампа, но она выглядела необычно. К столбам, служившим опорой навесу, были прикреплены большие куски коры, так что получилось нечто вроде стен, а из-за тени все сооружение казалось черным. Вокруг сампы на убийственном солнцепеке сгрудилась особенно плотная толпа. Откуда у них силы берутся в такую жару? У меня рубашка прилипла к телу, едва я вышел из машины.

Кругом были только мужчины, ни одной женщины. Я спросил Нзиколи, куда они подевались. Он оторвал взгляд от кеда, который подвязывал ротанговым лубом:

— Унгалла не для женщин, они могут умереть, если увидят Унгаллу. Только сестры-близнецы могут участвовать. Они обязательно должны участвовать, без этого ничего не выйдет.

Я не заметил никакой торжественности. Мужчины ходили взад-вперед и переговаривались, размахивая руками, дети шумели и катали обручи, кто-то ссорился. Но из-под навеса сампы доносились глухие голоса, а иногда словно хрюканье.

— Это Унгалла,— смеясь, объяснил Нзиколи.— Но там еще не все готово. Пошли, зайдем пока в дом, посидим в тени.

Стены в доме были беленые и совсем пустые, если не считать одного рисунка: на вырванном из тетради листке чернилами была изображена автомашина. Вид сбоку и сверху одновременно. Я сразу узнал «ситроен», такой же, как у меня.

— Нзиколи, да ведь это моя машина!

Нзиколи уже раздобыл бутылку кукурузной водки и стопку.

— Верно. Это сын хозяина нарисовал. Ребятишки много раз видели машину, когда ты проезжал через деревню.

Ишь ты, какой почет моей машине! С сожалением я отметил, что взрослые около сампы гонят прочь детей. Нзиколи опорожнил стопку и объявил, что пора идти. Нас услужливо пропустили вперед; жители явно были предупреждены. Нам отвели очень удобное место, на краю круглой площади, как раз напротив сампы.

— Мосье,— прошептал Нзиколи.— Вас попробуют испугать. Но это не опасно. Вы не пугайтесь, не уходите.

Услышав от меня, что я не из пугливых, он успокоился, повернулся, встал на цыпочки и посмотрел над головами стоящих сзади людей.

— Мосье! Поглядите туда! Видите, там стоят женщины и дети. Им тоже интересно, но, как только появится Унгалла, они уйдут.

Дверь сампы распахнулась, и по толпе пробежало движение. Появились несколько мужчин в красных лабедренных повязках, с длинными перьями в волосах. За ними шел ничем не примечательный на вид человек в грязных шортах и с копьём в руке. И это всё? Я ожидал совсем другого, например колдунов в фантастических нарядах. Нзиколи взволнованно прошептал мне на ухо:

— Это люди Унгаллы!

Человечек с копьём остановился передо мной, и Нзиколи добавил:

— Сейчас начнется. Только не пугайтесь!

Служитель Унгаллы — он был молод, почти юноша — заговорил, невероятно быстро и совершенно непонятно. Голос его звучал враждебно, даже злобно, как будто он меня в чем-то обвинял.

— Что он говорит? — шепотом спросил я Нзиколи.

— Это Унгалла спрашивает, что ты тут делаешь. Он никогда раньше не видел тебя.

Сказав еще что-то очень сердитое, жрец наклонился вперед, оперся руками о колени и, глядя в землю, с глухими стонами начал глотать воздух и тужиться как человек, страдающий запором. Его живот надулся, несколько раз он протяжно рыгнул. Видно, упражнение это требовало немалых усилий, потому что спина жреца быстро покрылась испариной. Стоны перешли в хрю-

канье, наконец живот стал похож на туго надутый мяч. Теперь глухой замогильный звук исходил, казалось, не изо рта служителя Унгаллы, а из точки в воздухе передо мной.

Вот оно что, чрево вещание! Знакомый номер: когда я проходил военную службу, перед нами, защитниками отечества, выступал чрево вещатель из концертной группы.

Жрец продолжал говорить хриплым загробным голосом, и речь его напоминала мне черную вязкую кашу. У меня першило в горле, и я непроизвольно прокашлялся. А затем он, угрожающе выставив вперед копье, пошел на меня рычащим зверем.

Однако я уже знал, что это всего лишь попытка напугать меня. И чтобы показать свою — по чести говоря, несколько поколебленную — невозмутимость, достал трубку, не спеша, старательно набил ее табаком и с безучастным видом зажег спичку. Маневр достиг цели, на лице мужчины появилась досада, он покачал головой и развел руками, как бы сдаваясь. Я был очень доволен, что выдержал испытание.

Но что это?.. Обескураженный чрево вещатель медленно пятится к сампе, а голос все звучит рядом... Как же так?.. Невероятно. Невозможно. Я не верил своим ушам. Жрец там, а голос... Голос остался тут! В жаркий полдень я ощутил леденящий ужас.

— Нзиколи, ты тоже слышишь? Звук остался!

Жрец вернулся к сампе, нас разделяло не меньше десяти метров, но хриплый голос по-прежнему звучал совсем близко передо мной. Яркое солнце, голубое небо, в лесу кричит птица-носорог. Я оглянулся, отыскал взглядом свою машину — кажется, лучше уехать... Но Нзиколи стиснул мою руку и прошептал:

— Стой спокойно! Это не опасно!

Под навесом зарокотали барабаны. Жрец снова подошел, посмотрел на меня пустыми глазами, повернулся, захватил звук с собой и исчез в черном отверстии в стене под навесом.

— Что, все-таки испугался?

Говорил Нзиколи. Я с опаской поглядел на него: уж не отстал ли и его голос от хозяина?

— Конечно, испугался. А ты не испугался? Как он это делает?

— Не знаю. Таких, которые умеют заставить Унгаллу говорить, очень мало. Этот один из лучших.

— А остальные, в красных набедренных повязках, с перьями в волосах, — они кто?

— Тоже люди Унгаллы, но они так не говорят.

Из леса доносились дикие вопли, и оттуда в деревню ворвалось что-то непонятное вроде лодок из пестрой ткани. Они с воем описали круг на площади, вздымая пыль, и нырнули в проулок между домами. Последняя из восьми лодок, покрытая голубой материей, была намного больше других, чуть не с дом величиной. Разумеется, внутри были люди, это они бегали и горланили, но их ног не было видно, поэтому казалось, что эти диковинные штуки сами плывут над землей. Мужчины позади меня с криками разбежались, а я спрятался за пальму.

Неожиданно наступила мертвая тишина. Лодки исчезли в лесу, только пыль еще висела в воздухе. Явление духов Унгаллы состоялось.

Из-под навеса вышел один из служителей Унгаллы, опираясь на длинный шест и держа под мышкой белую курицу. Толпа расступилась, освобождая проход. Он воткнул в землю палку и веревочкой привязал к ней курицу. Хохлатка растерянно мигала, скосив шею. Жрец заговорил; Нзиколи излагал мне смысл его речи.

Дело касается лова рыбы в реке. Лов долго был запрещен. Но теперь Унгалла отменил свой запрет, хотя одна из деревенских женщин и нарушила его, пошла ловить без разрешения. Унгалла покарал ее.

Нзиколи рассказал, что эта женщина однажды утром задумала незаметно для Унгаллы прокрасться к реке и наловить рыбы. Земляные орехи не уродились, и она сидела без еды. Только она забросила снасть, вдруг в воздухе что-то загудело, и явился Унгалла. Она хотела бежать, но Унгалла настиг ее и сбил с ног. Вскоре в деревне хватились этой женщины и пошли искать. Нашли ее на берегу и отнесли домой. И теперь она лежит дома больная.

— Она из этой деревни?

Нзиколи кивнул и указал губами на один из домов. Служитель Унгаллы говорил долго, и Нзиколи затруднялся все пересказать. Вдруг он объявил:

— Мосье, сейчас Унгалла вселится в курицу!

Жрец поднял свой шест. Все затаили дыхание. Он трижды стукнул шестом о землю; в следующий миг в лесу родился шелест, словно потянуло ветром. Я смотрел на курицу. Она вела себя странно, трясла головой, словно к клюву что-то пристало. Потом вся сникла, расправила одно крыло и легла на бок. Жрец развязал веревочку и поднял курицу за ноги. Голова ее болталась, как у мертвой.

— Она что, в самом деле умерла, Нзиколи?

— Да, конечно.

— Но ведь курицу легко загипнотизировать...

— Нет, она мертвая.

— А та женщина, с ней что будет?

— Наверно, тоже умрет.

— А мы можем к ней пойти?

— Можем, пойдем хоть сейчас.

Как ни странно, перед домом большой женщины никто не сидел, хотя обычно к большим собирается вся родня. Но может быть, другие женщины просто не смели идти сюда, пока длился ритуал Унгаллы. В темной комнате, в углу, лежал на полу сверток, из которого на нас уставились испуганные старческие глаза. Нзиколи о чем-то спросил, старуха отвечала коротко, односложно.

— Она говорит, что не ела с тех пор, как ходила на реку. Уже шесть дней. Что ни проглотит, сразу обратно выскакивает.

— Может быть, захватим ее с собой, отвезем в диспансер?

— Нельзя, ее родные не позволят.

— Но не оставлять же ее так, она умрет с голоду!

Нзиколи пожал плечами:

— Что поделаешь.

— Я привезу сухого молока. И мы должны переговорить с ее родней.

— Ладно,— согласился Нзиколи,— почему не переговорить.

Мы вышли из дома и вернулись на деревенскую площадь. Чревовещатель сидел перед сампой в полукруге служителей Унгаллы. Все тем же утробным голосом он декламировал нараспев диалог о власти Унгаллы над деревнями, над людьми и животными, над рыбами в реке, птицами и бабочками в воздухе. Служители встав-



Идолы бакуту. Такие фигурки обитают в домиках кумирни Нзобби

ляли вопросы и замечания, отбивая такт бамбуковыми палочками. Под навесом звучали женские голоса, они исполняли что-то вроде припева. Это были сестры-близнецы, они с утра сидели там взаперти.

Пение продолжалось несколько часов и еще не кончилось, когда мы сели в машину, чтобы возвратиться в Умвупи. Попытка увезти с собой в диспансер женщину, на которую обрушилось проклятие Унгаллы, не удалась. Долгие переговоры с родными кончились тем, что они потеряли терпение и попросили меня оставить их в покое. Даже не позволили дать ей сухого молока.

Через несколько дней она умерла.

ОТДУШИНА

Кумирня распространяла вокруг себя страх, который выражался в едва заметных жестах и знаках, а может быть, больше всего в нежелании говорить о ней. Там, где тропа вступала в лес, все разговоры смолкали. Люди робко озирались по сторонам. Немые белые идо-лы неотвратимо напоминали о своем постоянном присутствии.

— Ночью они выходят из своих домиков и идут в деревню,— сухо констатировал Нзиколи.

— Ты их видел?

— Конечно. Каждую ночь приходят.

— А что они делают? Они опасные?

— Нет. Просто ходят по деревенской улице, когда все спят. Нзобби охраняет деревню.

Раз под вечер я наблюдал странную сценку. Все женщины деревни выстроились в ряд друг за дружкой, расставив ноги над уходящей в лес лианой. Я позвал Нзиколи.

— Что это такое?

— Это Нзобби дает женщинам силу рожать детей. Нзобби держит другой конец лианы.

Перед первой женщиной лиана была пропущена через большую, связанную вверху рогатку, отдаленно напоминающую женские гениталии. Пригнувшись, женщины поочередно пролезали в эту рогатку. С другой стороны их встречал шаман. Он макал зеленую ветку в ка-

лебасу с водой и окроплял им лицо, плечи, грудь. Задние терпеливо ждали своей очереди.

После знакомства с кумирней Нзобби деревня обрела для меня как бы еще одно измерение, я увидел в ней глубокий смысл. С болью в сердце я думал о предстоящем отъезде домой. Мысль об этом грозным облаком омрачала мои дни. Стоит ли привязываться к этому краю? Все равно будущее не обманешь.

Иногда мной овладевала непонятная чувствительность. Виноваты в этом были не Нзобби, не Унгалла и не удивительные танцы, а скорее воздух, краски, неподвижный свет. В такие минуты у меня выступали слезы на глазах от вида овечьего помета на улице или трещин в глиняных стенах. А с Нзиколи я последние дни разговаривал как с близким человеком, которого поразила смертельная болезнь.

Мне не хотелось никуда ходить, ничего делать. Так бы и сидел, тоскливым бездельем растягивая время, только бы оно шло помедленнее. Иногда было похоже, что мои потуги увенчались успехом, время словно задерживало свой бег в лучах налягшего солнца. Но себя я не мог задержать. День приходил к концу, и ночь приходила к концу, и приходило к концу мое пребывание в стране. Я уеду, а Конго останется таким, каким было, останется этот вечный, мерный рокот...

На первый взгляд жизнь здешних людей с их полным безразличием к материальным благам могла показаться беспросветной. Деревни грязные, дома ветхие, о гигиене не слыхали. Изготовят какой-нибудь предмет и пользуются им, пока не сотрут вконец. Так и с одеждой. Рубаху изнашивают до дыр, когда от нее уже ничего не остается. И наверно, порой непросто найти дыру, предназначенную для головы.

Если крыша начинает протекать, ее чаще всего не чинят, даже если достаточно настелить сверху несколько пальмовых листьев. Предпочитают отодвинуть в сторону мебель и утварь. И так до тех пор, пока не останется ни одного квадратного сантиметра, защищенного от дождя. А когда дом отслужит свое, строят новый.

Однообразие будней, серые рассветы с холодной мглой, повседневный безрадостный труд на арахисовых полях, зной, слепящий свет, язвы, земляные блохи, парша, комары, мухи, сонное бытие под навесом, — если бы

к этому сводилась вся жизнь, оставалось бы лишь сокрушаться, глядя на нее со стороны. Но у здешних людей есть еще и другой мир.

В этом мире они находят себе прибежище и утешение. Он служит отдушиной, когда жизнь становится чересчур унылой. В нем они живут напряженно, ярко, переносясь в иную действительность, которая намного полноценнее обычной. Богов можно вызвать в любую минуту, экстатический танец может начаться без видимого повода.

Человек строит новый дом — вдруг он прерывает работу, начинает петь, раскачиваться и вступает в контакт с Нзобби, богом ритма и лада, мечтаний и грез. Остальные спокойно продолжают делать свое дело. «Не мешайте ему, он разговаривает с Нзобби!» Смотришь, уже все кончилось, — словно туча прошла перед солнцем или солнце проглянуло между облаками, — и человек как ни в чем не бывало трудится дальше.

Накануне моего отъезда к нам пришел вождь. Он что-то прятал под своим черным пиджаком и ступал крадучись, как на охоте, сторожко озираясь по сторонам.

— Квиса — заходи!

Он подтолкнул меня и прошел в дом. Я выждал немного, зевнул и последовал за ним. Нзиколи ничего не заметил. Он сидел в тени подле дома, воюя с присосавшейся к большому пальцу ноги земляной блохой.

— Пошли, Нзиколи. Вождь зовет нас.

Несмотря на открытую дверь, в комнате было темно. Вождь сидел у стола. Нзиколи повернулся к нему и о чем-то тихо спросил.

— Вождь говорит, что принес тебе прощальный подарок, раз ты покидаешь Занагу.

Пиджак таинственно оттопыривался. Вождь быстро глянул на дверь. Никто не подсматривал, солнечный свет заливал пустую площадь, только курица вскочила на таз Ндото и чуть не опрокинула его. Вождь осторожно расстегнул пиджак и извлек большой круглый предмет, завернутый в желтую травяную материю. Медленно развертывая материю, он что-то шептал, обращаясь то к Нзиколи, то к самому себе.

Я увидел череп, старый, почти коричневый череп с укрепленной на макушке раковиной.

— Это тебе. По-настоящему, это даже не подарок, а волшебный залог, чтобы ты непременно вернулся.

Я узнал, что череп — все, что осталось от отца вождя. Я должен взять его с собой, а он позаботится, чтобы я отсутствовал не слишком долго.

Нзиколи проводил меня до Долизи. Единственное, что я мог сделать для него, — купить новые очки. Дальше я поехал один в Браззавиль, там сел на самолет европейской линии и улетел.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Все мы знаем, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Но это справедливо лишь тогда, когда человек действительно умеет видеть, а не просто смотреть. Эта книга написана человеком, обладающим особым зрением. Если бы даже она не называлась «Конго глазами художника», установить профессию автора не стоило бы, мне кажется, большого труда. Разве не выдала бы его такая картина: «Но утром погода была сырая, стылая, хмурая и бесцветная. Угнетенные влажной мглой, деревни замыкались в себе, царила нелюдимая тишина. Но вот сквозь туман пробивается солнце, и наступает жара. Небо становится белым. Лишь когда солнце склоняется к горизонту, как-то вдруг, исподволь проявляется цветовая гамма. Яркая охра земли и прокаленных солнцем глинобитных домов, неправдоподобно синее небо, буйно-зеленое море лесов. Чем ниже солнце, тем сочнее краски, цвет достигает кульминации и тонет в скоротечных сумерках и черной ночи».

Я никогда, к сожалению, не видел живописных работ Сигфрида Сёдергрена, но если его краски на полотнах не уступают в сочности и точности словесной палитре, то я не ошибусь, думаю, в своем предположении, что это хороший, интересный художник; в том, что Сёдергрэн—талантливый литератор, смог убедить каждый, кто прочитал его книгу (и в этом нам очень помог Лев Жданов, сделавший превосходный перевод ее со шведского языка). Профессиональная наблюдательность, истинно художническое видение мира и незаурядное, мастерское владение языком — все эти качества С. Сёдергрена-автора вызывают порой неожиданное и удивительное ощущение — то, что иногда называют «эффектом присутствия»; вы вдруг замечаете, что чувственно воспринимаете то, что обычными буквами напечатано на бумаге: и изумрудную зелень леса, и нестерпимый жар тропического солнца, и жесткость старого слоновьего мяса, и боль в ноге, врачуемой женщинами-батеке... Секрет в том, что автор, уведя нас в «глубинку» Конго, не столько рассказывает, сколько показывает все,

что встречается на его (на нашем!) пути, все, что он ощущает и думает, — показывает, рисуя образным и точным языком яркие, запоминающиеся сцены.

За последние годы в нашей стране вышло довольно много книг об Африке, оригинальных и переводных, в большинстве своем умных и интересных, разнообразно обогащающих наши знания и представления о далеком, чуть-чуть еще загадочном континенте. Книги об Африке обычно не залеживаются на прилавках магазинов: велик интерес советских людей к истории, культуре, быту, сегодняшнему развитию африканских народов.

Книга Сигфрида Сёдергрена займет в ряду этих изданий свое особое место. В ней нет ни экскурсов в историю Республики Конго (Браззавиль), ни зарисовок современной политической жизни, ни какой-либо информации или размышлений о ее экономике. В чем же ценность этой книги для читателя? На мой взгляд, в том, что автор с очень большим тактом, незаметно вводит нас в самую атмосферу африканской природы и народной жизни, быта африканской деревни, какой он застал ее в самом начале 60-х годов XX в., когда страна только-только обрела свою независимость после почти восьмидесятилетнего господства французских колонизаторов.

Н. Г. Чернышевский очень хорошо оказал: «Жизнь рода человеческого, как и жизнь отдельного человека, складывается из взаимного проникновения очень многих элементов: кроме внешних эффектных событий, кроме общественных отношений, кроме науки и искусства, не менее важны нравы, обычаи, семейные отношения, наконец, материальный быт: жилище, пища, средства добывания всех тех вещей и условий, которыми поддерживается существование, которыми доставляются житейские радости или скорби». Книга Сёдергрена именно об этом, о нравах и обычаях бакуту и батеке, об их верованиях, о том, как они живут, что пьют и что едят, как ловят рыбу и плетут корзины, как поют песни и самозабвенно танцуют (это особая тема, проходящая через все путешествие и всю книгу Сигфрида Сёдергрена). Может быть, кому-нибудь все это покажется скучноватым; но разве жизнь людей в действительности не состоит по преимуществу именно из обычных, привычных вещей, небольших ежедневных событий и — изредка — маленьких приключений?

Сын миссионеров, ранние годы которого были окрашены «запахами и таинственностью удивительного мира» африканской страны, Сигфрид Сёдергрен много лет спустя, став взрослым, приезжает сюда, чтобы не просто увидеть, а попытаться ощутить, познать, понять этот мир.

Он решает пожить в «краю, где меньше всего сказывалось влияние белых». И вот с помощью проводника, ставшего скоро его близ-

ким другом, он погружается в мир деревенской, «не ведающей времени Африки». Мир этот очень своеобразен; природа, люди, обстановка, быт — все здесь отличается от привычного автору мира уютной европейской страны, откуда он присхал. «Деревни грязные, дома ветхие, о гигиене и не слыхали», человек обязательно умирает, если его проклянет колдун; весь жизненный уклад определяется средой, в которой живут люди, — дремучим, грозным тропическим лесом, заставляющим их силачиваться в борьбе против «упорно наступающих дебрей, против диких зверей, против бесов и колдовства». Единственная отдушина в однообразно тяжелом существовании — мир танца. В этом мире «они живут напряженно, ярко, переносясь в иную действительность, которая намного полноценнее обычной» (собственно говоря, речь идет здесь о могучей, преображающей человека силе искусства).

В восприятии автором открывшегося ему мира нет ни удивления, ни ощущения превосходства представителя «высшей» цивилизации; есть понимание. Понимание того, что жизнь этих людей объясняется условиями, в которых они живут, — географией и главным образом их историей. В этой истории было и могучее государство Конго, достигшее своего расцвета в XVI—XVII вв., и мрачная эпоха работорговли, и черная ночь колониального угнетения.

Темы колониализма — специальной — в книге Сёдергрена нет. Но колониализм слишком долго играл зловещую роль в судьбах всех африканских народов. Нельзя постичь суть Африки, не ощутив, не поняв всего того страшного, что было привнесено белыми колонизаторами в жизнь каждого народа и каждого жителя многострадального континента, и тема эта неожиданно, помимо воли автора, врывается в описание заполненной танцами ночи в глухой деревушке.

Забывшийся в танце, опьяневший человек вдруг замечает чужого:

« — Белый! Что он тут делает?

Недобрый, резкий голос перекрыл гомон толпы, и хотя слова были произнесены на языке китеке, я их понял. Тотчас воцарилась мертвая тишина. Только барабан продолжал глухо рокотать.

Почему так тихо? Разве происходит что-нибудь недозволенное, не предназначенное для моих глаз? Все уставилось на меня. Как будто впервые увидели, хотя многие отлично меня знали».

Мозг его (Сёдергрена) начинает лихорадочно работать в поисках выхода: что он может противопоставить неожиданно прорвавшейся враждебности окружающих? «Но ведь это вздор, я не имею ничего общего с белыми угнетателями и эксплуататорами. И меня никак не назовешь расистом. Но я белый»...

Не буду пересказывать дальше эту выразительную сцену: чита-

тель, конечно, помнит, как на помощь нашему герою пришел его верный друг Нзиколи, сумевший объяснить толпе, что «не все белые одинаковые». Мудрый Нзиколи — самый обычный, рядовой человек, мелкий торговец — безусловно прав: не все белые одинаковы. Сегодняшняя Африка все лучше понимает, кто ее враги и кто — друзья, независимо от цвета кожи. Но слишком долго белая кожа была символом беды, несчастья — колониального рабства, угнетения в тысяче его форм и проявлений, и автор книги, которую мы прочитали, очень явственно ощутил это. Мгновение — и куда делось забытье, куда исчез мир тропической ночи «в не ведающей времени Африке»!

А впрочем, была ли вообще когда-нибудь Африка, «не ведающая времени», полусонная, застойно неизменная, активно проявляющая себя лишь в экстатических танцах, Африка «вне истории»?

Сегодня мы уже хорошо знаем, что такой Африки не было никогда: наука и жизнь дали тому великое множество неоспоримых доказательств. Известный английский писатель и исследователь-популяризатор африканской истории Б. Дэвидсон имел полное право сказать, что жизнь африканских народов «не имела ничего общего с застоєм, ибо энергия была в них ключом. Они распахивали землю там, где ее никогда и никто не распахивал. Они добывали руду и выплавляли металлы, хотя никто не мог показать им, как это делается. Они находили ценные лекарственные травы. Они постигли секрет разбивки и искусственного орошения полей на крутых склонах холмов. Они создавали новые и сложные социальные системы. (У них) ...сложились самобытное ремесло и искусство, философия, идеология и религия...». «Африканская история представляет собой процесс, в котором подъем не раз чередовался с упадком, но в конечном счете созидательное начало одерживало верх. Африка всегда была в русле всеобщего человеческого прогресса и шла в том же направлении, что и народы других континентов. Народы Африки внесли и вносят ценный вклад в сокровищницу мировой культуры...»

Мы немало слышали от различных буржуазных культурологов и психологов о какой-то непостижимой душе «негра», о «вечных» и «неизменных» духовных ценностях черного человека с его психикой, резко отличной будто бы от психики «белого» человека, о неизбежности «особого» исторического развития «черных» народов.

Нет нужды отрицать ту истину, что каждый народ идет своей дорогой, что каждому народу свойственны какие-то специфические, одному ему присущие (порой даже трудно улавливаемые и еще труднее определяемые) черты, составляющие его национальный характер, самобытность его материальной и духовной культуры. Но историческая реальность заключается в том, что африканские народы следуют в своем развитии при всем его очевидном своеобразии общим за-

кономерностям развития человечества — и это, несомненно, является главным в постижении сути Африки. Суть Африки в конечном счете общечеловеческая.

Я не совсем уверен, что такое понимание сути Африки совершенно тождественно пониманию ее Сигфридом Сёдергреном. Но его книга, будучи честным, правдивым рассказом об Африке, помогла нам еще раз увидеть, полюбить ее природу и людей. Будем же благодарны за это шведскому художнику Сигфриду Сёдергрену.

С. Козлов

СОДЕРЖАНИЕ

Запах манго	3
Встреча с болью	6
Темная кожа в Долизи	11
Красный проток в зеленом океане	21
Человек на обочине	24
Заупокойная месса в Умвунуни	29
Танец инкиты	37
Чувственные танцы	50
Источник силы	61
...Кто смеется последним	69
Сны в Мбуту	77
Когда к человеку пришла смерть	89
Врачевание	98
Корзины и идолы	105
Жажда крови	118
Много обитателей	126
Проклятие Унгаллы	134
Отдушина	141
С, К о з л о в. Послесловие	145

Сигфрид Сёдергрен
КОНГО ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

*Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР*

Редактор *Р. М. Солодовник*
Младший редактор *Л. З. Шварц*
Художник *В. В. Варлашин*
Художественный редактор *Э. Л. Эрман*
Технический редактор *Л. Ш. Береславская*
Корректор *М. З. Шафранская*

Сдано в набор 20/IX 1971 г.
Подписано к печати 9/XII 1971 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага № 2
Печ. л. 4,75. Усл. печ. л. 7,98
Уч.-изд. л. 8,04. Тираж 15 000 экз.
Изд. № 2729. Зак. № 1001. Цена 41 коп.

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука».

Москва, Центр, Армянский пер., 2

3-я типография издательства «Наука».
Москва К-45, Б. Кисельный пер., 4

